

— Ну как, Миша, опять служить будем? — вопросительно-ласково взглянув на Веренцова, спросил атаман.

Мишка криво улыбнулся:

— Ничего не поделаешь, нам, состоящим в отрядах, называемых партизанскими, оставаться нельзя — большевики голову оторвут и собакам бросят. Я тоже у них буду числиться как доброволец, несмотря на то, что за мной с нагайками двое приезжали из отряда. Я не хочу сказать, что боюсь фронта, боюсь смерти, но канителиться не хочется, расставаться с родными и друзьями не хочется. А сколько там приходится испытывать горя, лишения, холода, голода... А за что это всё? Кому это нужно? Кому от этого польза? Да никому.

* Окончание. Начало в журналах «Гостиный Дворъ» № 3, 4, 5. Предисловие к роману смотри в № 50 2015 г.

— Как это никому? — возразил атаман. — А разве ты не знаешь, что мы боремся, чтобы истребить большевиков и установить нашу казачью, независимую власть? Разве ты не знаешь, что казак и мужик — враги? Ведь все мужики против нас, даже не исключая тех, которые находятся в наших рядах. Я разговаривал с Дмитрием Степановичем, так он именно вот так смотрит на эти вещи. Я не знаю, как он не внушил тебе эту истину.

— Это всё ерунда, что мужики нам враги — это неправда, — запальчиво возразил Мишка. — Есть такие мужики, которые дороже казака в десять раз, а есть и казак такой, у которого ни кола, ни двора, то он так и смотрит к большевикам убежать. Здесь не сословье играет роль, а классовый признак. А классы разделяются по имущественному положению: богатые, зажиточные, средние, бедные и гольтяпа, подзаборники. Богатый мужик всегда будет идти с нами. Разве можно мужиков считать врагами, если они богатые? А-а-а, ну вот. Я лежал в лазарете с одним офицером, так он мне каждый день такую проповедь читал. Правильно, он умный, я ему верил.

— Ты, Михаил, не дури, — предостерег атаман, — не вздумай при начальстве так говорить. Ты знаешь, как сейчас строго? И братья, и родство, и заслуги не помогут. Пока разберутся, а ты уже сгинешь.

— Да ничего и не будет. А всё это правда. Дутов-то не захотел с мужиками считаться, сказал, что одни большевиков побьём, не хотел с ними разговаривать, не принял их представителей, стал говорить только с войсковым кругом, а теперь и зажиточные мужики откололись. Им и к большевикам идти не хочется, и Дутов их не берёт. В этом отношении наш атаман сделал неправую ошибку. Митя наш все надежды возложил на атамана, чуть не молится на него, а подумав как следует, то он согласится со мной. Мужиков надо было взять под своё крыло, отдать им все помещичьи земли, а которые живут с казаками, наделить своей землёй. А Дутов сложил им дулю и сунул под самый нос. А они теперь сунут Дутову не дулю, а что почище. А их ведь в Сибири очень много, мужиков-то. В одном Кустанайском округе битком набито, вот им-то как раз Дутов и сунул дулю, когда они попросили прислать своих представителей на войсковой круг. А теперь неустойка, он стал их мобилизовывать. Вот они теперь нам и навоюют, держи карман шире. Они повернутся задом к большевикам, вот посмотрите — повернутся... — Мишка замолк. Атаман тоже молчал.

— Да-а-а, — тянул неопределённо атаман. — Да-а-а. Ты, язви те, пожалуй, в адвокаты скоро махнёшь. Да ты, может быть, и прав, собака. Вот только Дмитрий Степанович тебе сейчас

почесал бы мягкое место, если бы услышал твою проповедь...

Мишка рассмеялся.

— Да нет, он бы только сказал: «Дурррак ты, суккин сын», а потом плюнул бы, повернулся и отошёл. А после пораздумал бы и согласился со мной, а потом за это кличку бы мне какую-нибудь дал: или «аблакат» или просто «зубастовщик».

— Ну, ладно, Михайло, бывай здоров. Дай Бог тебе такое счастье, какое ты до сих пор имел. Не имел бы счастья, так и от одного большевика не ушёл, не только от двадцати. Мне ребята рассказывали. Молодец, одно слово — молодец. Если так будешь бороться за жизнь, то ни один чёрт тебя не возьмёт ни на воде, ни на земле, — атаман взял Мишкину руку, крепко пожал, потом подвёл к огромному портрету:

— Вот за кого мы должны воевать, за их славу, за их непоруганность, за честь и славу, и непоруганность казачества, и за самих себя. Это наш генерал, нашей станицы. Он в Петрограде, но его портрет, его тень нераздельна с нами, с его станичниками.

С портрета смотрело лицо пожилого человека с генеральскими погонами: генерал-майор Василий Дмитриевич Тырсин.

Рядом с портретом на огромной доске золотом — казачья эмблема: «Дай Бог каждому казаку напоить своего коня в реке Шпрее».

На Шпрее стоит Берлин. Эмблема напоминала о временах

императрицы Елизаветы Петровны — 1760 года, когда русский корпус занял Берлин — столицу Пруссии. История понадобилась для воспитания казаков в патриотическом духе — столкновение с Германией назревало несколько десятков лет...

3

С обычной печалью и заботой на простодушном лице встретила Мишу мать на пороге родного дома, который дышал прощаньем.

Каждый предмет, каждая вещь как будто звали Мишку. Он вошёл в комнату, тёмную, грустную. Состояние было странное, в нём, казалось, высоко звенела какая-то струна... Не хотелось говорить. Он вышел во двор прощаться с животными.

Кони подходили к нему, нюхали, лизали его — они больше людей чувствовали, что их любимого хозяина скоро не будет с ними...

С северо-запада донеслись звуки оружейных выстрелов. В сердце усиливалось волнение, его защемило какой-то тупой, угнетающей болью.

Чуя разлуку с хозяином и надвигающуюся беду, завыла собака. Пустыри сгоревших со всем пристроен домов наводили ужас...

Михаил зашёл в дальний сарай. В глубине его, прислонившись к стене, стоял Степан Андреевич. Он заметался, как будто попался с кражей. Он был погружён в какие-то неотвязные

мрачные думы, но сын помешал ему. Теперь он виновато смотрел бессмысленными глазами, он был как сумасшедший. Наконец, с трудом выдавливая слова, отец заговорил:

— Миша, сынок, мы, наверное, больше не увидимся. Ты сейчас уедешь, и я тебя больше не увижу никогда. Про Митю и Петю ничего не слышно, поди, уж в живых нет. И тот, и другой, говорят, где-то в Уфимской губернии бьются. Но они хоть немножко умеют себя сохранить, а ты ведь совсем глупый. Ну, сынок, — подошёл Степан Андреевич ближе, — дай хоть я на тебя посмотрюсь досыта. У Мишки капали слёзы и тут же на груди замерзали.

— Чувствует моё сердечушко, что я не дождусь вас ни одного, — продолжал отец, — только и увижу теперь я вас в гробах, а может быть, и ещё хуже: побросают ваши тела по степям на съеденье волкам и птицам. — Степан Андреевич держался за столб обеими руками. Он был бледен как снег, от слёз смёрзлись борода и усы. Руки его вдруг оторвались от столба, он упал на живот, вытянув руки вперёд по полу сарая.

Мишка подбежал, поднял и поставил отца на ноги, тот шатался, готов был упасть снова. Сын варежкой вытирал на лице отца слёзы.

— Миша, сынок, дай я насмотрюсь на тебя, — бессвязно, путая слова, говорил отец. Глаза его были закрыты. — Красавец

Красавец ты наш, давай лучше умрём вместе здесь, дома, нас зарюют вместе, вместе, сынок, будем лежать. Всё равно ведь умирать: вас там постреляют да побросают по степям, а нас здесь.

Мишка посадил отца на ясли, сел рядом сам, успокаивал, у обоих слёзы лились ручьями.

— Не горюй, тятя, всё пройдёт: подерёмся-подерёмся с большевиками да помиримся. Ну, если нам налупят бока, то примем ихнюю власть, будем жить, куда деваться?

— Что нам, казакам, требуху выпустят, то я хорошо знаю, — шептал отец. — Ведь нас, казаков, во сколь разов меньше, в тридцать пять раз, вот как. Казаков пять миллионов, а мужиков — сто семьдесят, а што у Колчака, говорят, три миллиона, то мужиков считать нечего. Так и так нам сдыхать. Но вот хозяйство-то жалко: наживали-наживали, а потом отдай каким-то псам, а сам умирай допрежь время. — Степан Андреевич пришёл в себя. — Ну, давай пойдём в избу. Надо послать за самогоном, да и шарануть перед смертью-то, мать её...

Михаил вытер последние слёзы, улыбнулся. Они пошли через передний двор в землянку. Мишка послал отца вперёд, а сам решил прикрыть почему-то открывшиеся ворота. Он выглянул на улицу: из-за соседнего угла полным карьером на красивом осёдланном коне вылетел всадник в офицерской шинели и папахе. Заиндевевший башлык

закрывал почти всё лицо до самых глаз. Прежде чем Михаил окинул всадника взглядом с ног до головы, тот сделал крутой поворот вправо и, с трудом сдерживая коня, остановился в двух метрах. Он ухарски выбросился из седла, сделал шаг вперёд, подчёркнуто стукнул шпорой о шпору и взял руку под козырёк:

— Здравствуй, Мишенька. — Это был брат Дмитрий. — Миша, эвакуироваться нужно. Как можно скорее. Красные уже подступают к станции Общій Сырт, угрожают атаковать город не позднее как дня через два — одновременно с севера и запада, а может быть, даже с востока, — нервно говорил Дмитрий. — А где же тятя? Ему нужно уехать. Ведь большевики откопают его прошлое, когда он был атаманом станции, и за это могут расстрелять. Ну, давай хоть поздороваемся.

И братья расцеловались.

— Ну, пойдём, Митя, что же я стою, как истукан, не приглашаю, — спохватился Мишка и повёл коня Дмитрия.

— Милые мои детушки, — голосила выбежавшая из комнаты Елена Степановна, — отец, отец, выходи скорее! Хоть на одну минуточку, да мы почти все вместе, только нет Пети. Милый ты мой сыночек, сокол ты наш ясный, ну-ка, я хоть посмотрю на тебя и насмотрюсь на всю жизнь, — в слезах развязывала мать у сеней башлык сына.

Дмитрий быстро вошёл в комнату, быстро разделся, как бы

доказывая, что он принадлежит этому дому и этой семье. Он был щегольски обмундирован во всё новое. На румянном лице сияла улыбка, как будто он не был подавлен никакими событиями.

Степан Андреевич, выглаженный дряхлым стариком, болезненным движением слез с печки на пол, обнял сына. Его голос дрожал:

— Митя, сыночек, ну что же это делается? Ведь они, эти супостаты, совсем угонят вас, разлучат с нами навеки. Чует моё сердце, что я больше не увижу вас никогда, красавцы мои писанные. Вас там побьют, а нас тут постреляют. Мать, смотри на чадушек своих. Ведь сейчас их отнимут у нас и не отдадут нам никогда. Наташа, ну а ты что стоишь? Что не прощаешься? — Наташа стояла вся в слезах. — Ну, расскажи, сынок, как там на фронте и куда ты теперь едешь?

— На фронте гадко: мы отходим на всех направлениях, а красные движутся, уже подступают к городу, в некоторых местах от города на сорок—пятьдесят вёрст, — говорил Дмитрий. — Я сейчас еду на Нежинку — Сакмарскую — Имангулово. Мне некогда даже покушать у вас, уж, покушаю, видно, дома, спешу заехать туда, проститься с семьёй. Как знать, может, и на самом деле в последний раз вижу свою родину¹... Итак, прощайте. Не только самогона, даже ложки щей некогда у вас скушать. Вот вам мой наказ: тятя нужно уехать

из дома, скотину отогнать в киргизы на тебенёвку², женщинам разойтись по бедным родственникам или знакомым хотя бы на первый момент, как придут красные. Повторяю, тятя ни за что не нужно оставаться, чтобы не быть поставленным к стенке. А повод к этому они найдут веский: во-первых, тятя атаманил целых девять лет, а во-вторых, является родителем трёх сыновей, головы которых совсем не дёшево расценили большевики. Разве мало в занятых станицах и посёлках случаев расправы с отцами, сыны которых ушли с белыми? Остаться тятя дома — это значит подписать себе смертный приговор.

Степан Андреевич задумчиво, равнодушно-утвердительно кивал головой. Думы давили его. Едва ли он слышал, что говорил сын. Елена Степановна в упор смотрела на Дмитрия, часто смахивая слёзы.

— Сыночек, милый, как же вы бросаете нас? Бросаете своих детушек, бросаете родное? — причитала с плачем мать. — Вон и Миша-то засобирался, заспешил как на пожар. Как будто вам дома противно стало с нами, торопитесь скорее встретиться со смертью?

— Мама, — сказал Дмитрий, — нас долг зовёт, нас зовут поля, где за честь, свободу и непоругание казачества и вас всех борются наши братья-станичники. Они борются за великое, святое дело казачьей чести, традиций своих дедов, они отстаивают

наши угодия и привилегии, они истекают кровью в непосильной борьбе, они руку протягивают нам, нас зовут на помощь. Ну какое же мы имеем право не пойти им на помощь? Какое имеем право жалеть жизнь, если придётся умереть? Что стоит наша жизнь? Мы должны погибнуть, если не победить... Миша, ты в Оренбург выедешь завтра утром, а тятя должен будет выехать тотчас, как только город займут красные. А я сейчас должен спешить. Мама, прикажи вывести мне коня. Ну, прощай, тятя! Прощай, мама! — Дмитрий крепко поцеловал родителей. Они не могли отвечать, стояли как изваяния, слёзы текли по щекам...

Сплошной бисер морозных, снежных звёздочек искрился на необозримом саване степных равнин оренбургского казачества. Дыша морозным паром, конь Дмитрия неутомимо скакал к Гребеням и дальше, на Сакмарскую станицу.

Вот уже Гребени остались позади. Навстречу плыл первый холм, служивший естественным рубежом для прикрытия станицы с юга. За первым холмом — второй, более похожий на складку, от него потянулись казачьи дворы. Они бежали сбоку, за ними плыла навстречу станичная площадь.

Дмитрия кольнуло в сердце, когда он увидел место на площади против станичного правления, где несколько месяцев назад тёмной июньской ночью он учинял

расправу над местными казаками, уличёнными в сочувствии большевикам. Дмитрий нервно прищипнул коня, отвернул лицо, злобно сплюнул. В воображении возник момент расправы, когда он в темноте поднёс тяжёлый холодный кольт вплотную ко лбу и выстрелил, на мгновение увидев озарённое огнём лицо бывшего местного атамана. Дмитрий намурил брови, ещё раз сплюнул, рванул повод и поскакал во весь карьер на Имангулово...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

— Наташа, наверное, ты меня завтра повезёшь в Оренбург, — сказал Мишка жене, — меня там оставишь, а коня приведёшь обратно. Верхом мне ездить пока нельзя, наверное, пристроюсь пока где-нибудь в обозе.

— Хорошо, Мишенька, поедем. И я ещё прощаюсь там с тобой, — сказала заплаканная Наташа.

От орудийных раскатов, доносившихся с гор Общего Сырта, дребезжали стёкла оренбургских домов. Михаил с Наташей ехали по улицам города.

На пороге приёмной атамана округа Михаилу перегородил путь какой-то офицерик. Он пристально посмотрел на Михаила и попятился назад, в приёмную, видимо, решив ждать представления этого молодого казака без погон. Где и когда он видел его, офицер не мог припомнить.

Рыжеватый, выше среднего роста, с правильным, простым и добродушным лицом атаман Бурлин стоял за столом. Повернувшись вполоборота к Веренцову, он выслушивал адъютанта с небрежно захлестнутым через плечо назад аксельбантом. На правой руке казачьего офицера-адъютанта висела нагайка. С голубого верха лохматой папахи крестом хлестал серебряный галун. Адъютант зачем-то часто ухарски брал руку под козырёк. Бурлин косил глаза в сторону Веренцова.

Офицер у порога переминался с ноги на ногу, ждал Мишку, не уходил.

— Ну, я вас слушаю, молодой человек, — обратился к Веренцову атаман, обхватив обеими руками концы небольшого столика после того, как адъютант резко ударил шпорой о шпору, круто, как на ученье, повернулся и, звеня шпорами, быстро вышел из кабинета.

— Я по вашему вызову, господин есаул, из Благословенной станицы — Веренцов Михаил Степанович, — сказал Мишка.

— Если не ошибаюсь, вы — старший урядник, ещё две ступени и вы — прапорщик... буду с вами откровенен, — вкрадчиво сказал Бурлин, кинув взгляд к порогу. Можно было судить, что атаман не стесняется присутствия свидетеля.

Атаман продолжал:

— Положение Оренбурга критическое: большевики рвутся через Имангулово — Сакмарская,

город продержится не более двух-трёх дней. Вам, благословенцам, а тем более Веренцовым, оставаться нельзя. Дмитрий Степанович у меня вчера был и просил меня послать казака к вашему отцу, чтобы убедить его покинуть станицу в момент подхода к Оренбургу большевиков. Вы зайдите ко мне ещё сегодня часа в четыре. К этому времени я буду иметь сведения о Дмитрие Степановиче. Он сегодня рано утром повёл наступление на врага в районе Дедово-Исаево. А пока до свидания. — Атаман подал руку.

У порога Мишку встретил офицерик.

— Вы были в командировке в Самаре с атаманом войска? — спросил он запальчиво.

Михаил нерешительно и неопределённо наклонил голову.

— Я вас знаю, я Красногорской станицы. Вы и ещё один форштадтский приглашали меня с собой в гости. Я тогда был старший урядник, а теперь за боевые отличия на фронтах произведён в прапорщики.

Мишка равнодушно заметил:

— Небольшая радость для отступления-то, а для поражения так просто опасно.

Прапорщик отрывисто попрощался и быстро вышел из кабинета.

Обозы нескончаемой вереницей тянулись по улицам Оренбурга, направляясь на восток, на большую дорогу в Орск. Ехали именитые люди города, ехали в повозках, пристроенных на

санях, ехали с семьями, в одиночку. Шли обозы с оружием, обмундированием, шли возы из разных мастерских и заводов — везли оборудование и материалы так называемого англичанского арсенала. На санях лежали кузнечные мехи, рядом торчали черенки молотков и кувалд, приваленные наковальнями, громоздились шкуры, выделанные на сыромять и шагрень³ для шорно-седельной мастерской.

Предполагали организовать мастерские в верхних станицах, так как отступать далеко никто не собирался.

2

Михаила прикомандировали к обозам окружного правления, следующим вдоль железной дороги Оренбург — Орск, привязанной к реке Сакмаре станциями Гребени, Жёлтинская, Сары.

Орудийные раскаты, иногда пулемётная стрельба, доносившиеся со стороны станций Каргала и Майорские степи, сообщали панический страх беженцам-богачам, всем недовольным советской властью или провинившимся перед ней.

Перегруженные поезда больше не вмещали в себя, в лютый холод люди ехали на крышах вагонов. Поезда больше стояли, чем шли: не хватало топлива, воды. Пассажиры сходили с поезда, собирали щиты для топки паровоза, лопатами забрасывали снег в тендер, мало-помалу двигались вперёд.

Проносился слух, что красные появились где-то с фланга или нападают с тыла, тогда поднимались крики и смятение, плач женщин и детей. Люди бежали от вагонов, вернувшись, искали своё добро, которое не всегда оказывалось на своих местах или вовсе исчезло...

Кричали: «Куда едем? Зачем едем? Куда нас везут при таких беспорядках? Всё это виновато глупое начальство!» А сами всё ехали и ехали дальше от дома, хотя никто не тянул, не посылал отступать... Везли жён, детей, вещи, бросив больше: скот, дом, имущество — всё, что трудами наживалось десятки лет.

Слепили бесконечные степи в саване морозного, скрипучего снега. Метель завывала заупокойными голосами, сбивала с дороги, облекала в холодную дремоту.

Всё впереди было чужое, не приветливое, не обещающее покоя и счастья. С каждым часом пути отступления всё более грозил призрак разлуки с родиной.

На пикетах не хватало квартир, в зимнюю стужу спали во дворах под одеждой, не всегда тёплой — хорошая одежда была не у всех.

Не было фуража животным, они жалобно, с тоской взывали о помощи, с каждым днём худели, умирали. И людям не хватало продовольствия, ложились спать голодными, зная, что их ждёт голодное утро. Хлеб и мясо замерзали так, что при дележке их пилили пилой. Грызли, ломая зубы,

мёрзлый хлеб, из дёсен текла кровь, обагрывая кусок...

Русские люди бежали от русских людей, сеялась во все стороны жестокая смерть — народы России истребляли друг друга.

3

Шестнадцатого января Оренбург заняли красные части. Фронтальная линия пролегла между ним и станицами Нежинской, Благословенной, Меновой двор, Павловской, Чернореченской. К северу от Оренбурга ещё стойко держались Имангулово, Исянгулово, Дедово-Исаево. Ещё севернее советские части вклинились до Кананикольского и Белорецкого заводов.

Почти без боёв сдав Оренбург, белые стали тотчас рваться к нему. На сотни вёрст по лесам Башкирии протянулся фронт, непрерывной вереницей он посылал убитых казаков для похорон в родных станицах. Хоронить их выходили все. Душераздирающий плач не умолкал по несколько дней. Каждый думал, что завтра его очередь встречать своего близкого убитым, и каждый хоронил чужого, как родного мужа, отца, брата.

В марте по всему Оренбургскому войску пронеслось воплем: на реке Салмыш казакам изменили кустанайские части.

Чтобы отбросить красных на участок станции Общий Сырт и прервать железнодорожное сообщение Самара — Оренбург, белые перебросили через Салмыш,

на западный берег, до двух батальонов пехоты кустанайского набора.

Как только пехота переправилась, полк казаков последовал за ней и высадился на западном берегу. Лёд, застрявший где-то выше переправы, прорвал брешь, и вставший было ледоход пошёл снова.

Кустанайским частям было приказано повести наступление в западном направлении от реки. Кустанайцы, наступая, дошли до цепи красных и без выстрелов, по договорённости, передались им. Соединившись с цепью противника, они обрушились на казаков.

Обескураженные казаки в панике бросались в реку с конями и без коней и тонули, сжатые льдинами или застреленные на воде с берега. Принявших бой на берегу там же и побили.

По всем станицам пронеслись проклятья кустанайцам за измену. Ещё более углубилась пропасть между казаками и неказачками. Даже богачам-мужикам, хотя они и состояли в рядах белых добровольцами, казаки перестали верить. Видя это, солдаты бросали оружие и уходили домой или переходили на сторону красных и тут же шли в наступление на белых.

Через несколько дней после падения Оренбурга линия фронта передвинулась к востоку, оставив на стороне красных войск станицу Благоденную. Её атаковали с юга, когда казачья кавалерия отошла на киргизскую

территорию. Несколько часов станица находилась никем не занятой.

К двум часам дня в нескольких верстах появился усиленный наряд конной разведки. Группа конников продвигалась медленно. Жители вступали в спор: одни говорили, что это вернулись казаки, другие — что пришли красные. Наконец подъехавшие на полувинтовочный выстрел кавалеристы дали по станице залп, другой, третий. С пустых улиц им никто не отвечал, жители попрятались. Конная разведка, дождавшись подкрепления, приблизилась к станице, осторожно въехала в улицу.

4

Михаил Веренцов отступал со множеством обозов на Орск и дальше, на Троицк. Нельзя было найти ни газет, ни депеш, из которых было бы видно положение на фронтах, под Оренбургом, в Благоденной. Слухи ходили самые разноречивые, нелепые.

Ехали по необозримым снежным полям. Зайцы, празднуя время любви, перебежали дорогу большими стаями. Иногда вдалеке пробегали волки и лисицы, в них стреляли от обоза из винтовок, но на выстрелы они не обращали внимания. Бриллиантами разливались снежные звездочки на тёплом, мартовском солнце. Воздух — чистый, тепловато-сонливый днём и морозно-бодрящий ночью — делал небо тёмно-голубым. На севере иногда мелькали

незнакомые вспышки Северного сияния, похожие на очень далёкие молнии.

Обоз окружного правления остановился на длинной улице огромной станицы Новоорской. По обеим сторонам улицы смотрели двухэтажные и полутрехэтажные дома со множеством больших окон, завершённых полукруглыми верхними косяками и ажурно выпиленными цветными стёклышками, — дома самой зажиточной части станицы, казаков. Хозяева их как будто специально заселяли эту улицу, чтобы жить рядом и беседовать о своих богатых делах. Теперь они вышли на улицу — с большими окладистыми бородами, подпоясанные голубыми кушаками сверх одежды. Папаха — сшитыми голубыми верхушками. В талию пригнанная поддёвка без боров⁴ обнажала колени, где сверкал на брюках голубой широкий лампас. Молодых казаков не видно, они на белом фронте.

Казаки чинами и званиями пониже были посланы в улицы менее зажиточные, с меньшими домами, и расквартированы скученней. Михаил подъехал к дому местного середняка на второй улице от центра. Встречать квартирантов вышел пожилой хозяин, радушный весельчак и хлебосол из казаков. Он с шуткой обратился к приезжим, с ног до головы осмотрел Михаила и его товарищей. На вопрос о фамилии ответил: «Болодурин».

Быстро надвигались сумерки, морозной мглой окутывали станицу. Далёкая от фронта Новоорская была далеко и от событий конца семнадцатого и восемнадцатого годов. Здесь жили ещё мирной, не тронутой ни войной, ни революцией жизнью. Приближение фронта мало действовало на жителей — они не знали, что такое район военных действий. Где-то была буря, сумрачно висели тучи, грохала гроза, а здесь были солнце, ясная погода. Никто здесь не представлял, что война — это обжорство, воровство, грабёж, насилие, реквизиции, пожары, смерть. Не думали жители этих мест, что им придётся вынести на своих плечах всё, что не пришлось вынести ни западной, ни центральной России с четырнадцатого по семнадцатый год.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Небывало крепкие морозы зимы 1919 года держались до середины марта. До этого времени солнечные дни были не теплее прозрачных морозных ночей. Продвигающиеся по станицам к Троицку нескончаемые обозы отступающих белогвардейских частей и беженцев толкли разбитый снег на столбовой дороге Орск—Троицк, выдалбливая огромные ухабы и опасные для тяжёлых возов раскаты. В ухабах застревали возы, их не в состоянии были вытащить обессиленные кони.

Застрелявшие задерживали задних, те объезжали сбоку и сами застревали в мягком снегу. Люди топтались около возов, тащили их, помогая коням, обессилев, с руганью выбрасывали часть груза на снег, ехали дальше. Опять застревали и опять выбрасывали.

Вещи подбирали едущие сзади, потом и новые хозяева выбрасывали их вместе со своими вещами — кони не тянули.

Бросали обессилевших коней, быков, коров, в степи их никто не покупал, как не покупали одежду, обувь, ценные вещи.

Огромная станица Ключевская на приподнятой северной стороне речки Увельки увиделась сразу уже версты за три. Мишка подъехал к большому недостроенному дому с жилым домиком во дворе. Хозяйка, местная казачка, рассудительная Евдокия Макаровна встретила новых квартирантов радушно. На вопрос: «Где же ваши мужчины?» ответила:

— Сын воюет за Дутова, а отца посадил в тюрьму тот же Дутов, — делая ударение на последнем слове. Веренцов поморщился.

Все дни, что жили они в этом доме, Мишка не мог найти верного тона с его обитателями. Всякий разговор обязательно комкался. Миловидная, взятая из Троицка сноха, жена сына, воюющего на фронте, вообще казалась Мишке враждебной к казакам, её он попросту ненавидел. Он чувствовал, что вся семья считает его ярым приверженцем Дутова, жестоким и опасным. При нём

женщины не разговаривали, тем более о политике. Скрытность хозяев усиливала неприязнь, подозрения, желание перебраться на другую квартиру.

Из печати белых было видно, что они снова стоят под стенами Оренбурга, и Благословенная в их руках.

Центральная часть Колчаковского фронта, снова наступающая по Сибирской магистрали, достигла станции Абудулино, севернее бои шли между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, но где точно, газеты не сообщали.

В большом станичном доме Потапова оборудовали кузнечно-слесарную и деревообделочную мастерскую. Готовили ленчики⁵ для сёдел, копыя для деревянных пик и сами пики — всё в таком примитивном виде, что смешно было смотреть: пики кривые, в сучках, ленчики сваливались с коня, в один день портили коню спину — после нельзя было седлать...

В мастерскую, где работал Мишка, вошёл её заведующий инженер Бобров, спросил:

— Кто здесь Веренцов?

Мишка взял под козырёк, отзываясь. Бобров подал руку:

— Я сейчас разговаривал с вашим братом по телефону из станичного правления, идите скорее туда, он вас ждёт у телефона в Троицке.

Мишка побежал в станичное правление.

На втором этаже громоздкого станичного дома в тесной комнате

за большим столом сидел атаман станицы Ключевской, окладистая борода его пестрела проседью. В сторону Мишки он бросил уничтожающий взгляд:

— Кто такой? Откуда?

— Меня вызывает к вашему телефону из Троицка офицер Веренцов, — Мишка взял руки по швам. Атаман встал, широко улыбнулся, подошёл к телефону, снял трубку, подавая Мишке:

— Казачий офицер ваш брат, да? — Мишка кивнул.

В трубке уже слышался знакомый голос брата. Слезы радости навернулись на глаза. Мишка первый раз в жизни говорил по телефону.

— Миша, это ты? Ну говори же скорей! Я ведь давно жду тебя здесь.

Дмитрий сказал Мишке, что он в троицком военном лазарете, по какой причине, узнаешь, мол, как приедешь, и просил поторопиться, так как на днях он должен выехать на фронт.

Вернувшись на квартиру, Мишка рассказал друзьям о разговоре с братом, о необходимости как-то попасть в город. Неожиданно выручила хозяйка: завтра она собирается ехать туда на своей лошади и возьмёт с собой Веренцова.

На другой день после нескольких часов тряски их лошадь, впряжённая в крестьянский тарантас, остановилась у подъезда троицкого лазарета. Из его дверей и обратно сновали

медицинские сёстры. Одну из них Мишка задержал.

— Скажите, пожалуйста, сестра, — спросил он, — у вас не находится на излечении казачий офицер Веренцов?

Та недоумённо посмотрела на незнакомого.

— Обождите минуточку, я проверю, что-то не помню, — ответила она и скрылась в дверях. Мишка нетерпеливо ходил от тарантаса до подъезда и обратно.

Мишкина хозяйка, помирившись за дорогу с Веренцовым, в котором теперь не видела врага, а лишь яркого защитника казачества, с откровенным любопытством ждала встречи братьев.

В дверях лазарета появился Дмитрий. Он был слегка бледен, будто помолодевший с последнего свидания в декабре. На нём был белый халат, наброшенный на гимнастёрку с погонами, и брюки с лампасами, сапоги. Он больше походил на посетителя, чем на больного. Быстро сбежав по ступенькам подъезда, Дмитрий порывисто обнял Мишку. Братья крепко расцеловались.

Дмитрий отвесил низкий поклон хозяйке Михаила. Евдокия Макаровна в ответ предложила братьям для свидания квартиру своих родственников, нужно только показать её Михаилу. Дмитрий согласился, с условием, что тот быстро вернётся. И Мишка с хозяйкой уехали.

Дмитрий долго махал вслед поднятой рукой, как будто отгонял от них злые силы...

Братья сидели рядом за столом, прижавшись друг к другу. Мишка не выпускал руку брата, будто боялся, что тот может уйти навсегда. Дмитрий запальчиво вполголоса говорил о положении на фронтах, о политике, об отношениях белого командования к солдатам и казакам... Под предлогом покурить они вышли из-за стола и сели отдельно, чтобы никто не мешал.

— Ну что ты, Митя, — не соглашался Мишка, — как можно жаловаться на положение на фронтах, если наши разведки не могут столкнуться с противником, так стремительно он отступает.

— Нет, Миша, я определённо знаю, в каком положении мы окажемся через тройку месяцев. Мы будем отступать, несмотря на местные удачи. Будем отступать далеко, может быть, вглубь Сибири, может, до Китая. Казаки, я не говорю уже о солдатах, не знают, за что они воюют, а внушить им никто и не думает. Даже офицеры спрашивают себя: «А что же будет, когда побьём большевиков?» Агитационных отделов нет, а где они есть — бездействуют. Наши пустые верхи продолжают думать, что они воюют с иностранным врагом, а не с русскими, с которыми надо воевать умеючи. Чинопочитание, отдавание чести у нас свило смердящее гнездо. Выбивает из головы охоту бороться за того, кто заставляет тянуться перед собой.

В такой критический момент... каждая минута дорога, чтобы её использовать на обучение рядовых владеть оружием, нападать, защищаться, а у нас стараются обучить правильно тянуться перед чинами. В гражданской войне победит тот, кто сумеет доказать массе, что он борется за счастливое будущее народа, за свободный труд.

Вот большевики превзошли нас во многом. Они долбят и долбят каждому, что они за свободу слова, за свободу печати, за свободу религии, за свободу собраний и демонстраций, даже за свободу действий, если они не вредят другому, за неприкосновенность личности, национализацию земель помещиков, фабрик, заводов, банков. Всё, мол, это они отдадут народу. Вот так они говорят. Дадут они потом или не дадут, это дело другое, но по крайней мере обещают. И правильно делают, а наши — дураки, остолопы, не знают политики, так и не лезли бы воевать. Александр Ильич Дутов не глупый генерал, а вот не умеет держать народ в руках путём внушения и агитации. Он действует всё приказами да репрессиями, а поэтому и боятся Дутова, бегут от него в разные стороны, как мыши.

— Скажи, Митя, — прервал Мишка, — где сейчас проходит фронт под Оренбургом, у кого наша станица?

— Она несколько раз переходила из рук в руки, а теперь окончательно оставлена нашими. Казаки

отошли к третьему аулу, — ответил Дмитрий. — Я не могу спокойно спать, спокойно смотреть в тарелку, спокойно говорить, когда думаю об этом, я уверен, отца нашего уже нет в живых, большевики его погубили, мы его не увидим больше никогда. А что он не уехал отступать, то я знал и раньше, что он не поедет. Это ведь исключительно невозмутимый человек. Он сам никогда ни на кого не нападает, но если на него навести дуло винтовки или револьвера, то он так и умрёт, не моргнув глазом. Вот я вижу у тебя слёзы, а я их лью по ночам. По ночам плачу, чтобы никто не видел, мне стыдно, но сердце не терпит, — он замолчал.

— Митя, а что, если бы сейчас тебе сказали: «Хочешь, чтобы отец был жив, перейди к красным». Что бы ты сделал?

— Что ты болтаешь? Ты с ума сошёл? — широко открыв глаза, сказал Дмитрий. — Разве можно считаться с одним человеком, хотя бы с отцом, с братом, с сыном, с кем угодно! Я никогда не покину своих, не перейду к врагу. В борьбе за идею нужно ставить на карту всё... и жизнь... — тогда победа будет обеспечена. А придётся погибнуть, всё-таки это отрадной подчинения. За это не осудит история, не осудит поколение. Правы мы в борьбе с большевиками или нет, — это другое дело, но в каких рядах сражаешься, за те ряды и стой: побеждай или умирай, иначе ты — презренный трус или изменник.

— Митя, а вот если бы я перешёл к красным и попал бы тебе в плен, неужели ты расстрелял бы меня? — спросил Мишка.

— Чужому всадил бы одну, максимум две пули, а тебе всадил бы пять или изрубил бы шашкой, — отчеканил Дмитрий.

— Так вот как, оказывается, нужно смотреть на борьбу, — задумчиво растягивая слова, как бы сам себе сказал Мишка.

— Да, именно так. С кем встретишься, в того и превращайся: с другом встретишься — в друга превратишься, с врагом — во врага, со зверем — в зверя, с учёным — в учёного, с неграмотным — в неграмотного, с маленьким — в маленького. Только в женщину не превращайся — проиграешь, она победит... Ты должен быть выкован и закалён, как наши предки... Ермак, Разин, Пугачёв. Умри таким — и тебе будет честь и хвала. А будешь трусом и малодушным, тоже умрёшь, пожалуй, и скорее, но с позором. Вот тебе моё братское напутствие. Я знаю, ты не отстанешь от меня по натуре, может, даже пойдёшь вперёд — далеко. Я за тебя спокоен, не то что за Петра... Да, браток, — помолчав, продолжал Дмитрий, — многому тебя ещё надо учить, многому. Распознавать друзей и недругов, побеждать любого противника. Одного нужно победить, нападая на него, а другого — защищаясь от его нападения. Рубить шашкой нужно уметь обеими руками, перебрасывать шашку из одной руки в другую, когда

обе конницы смешались в кучу... К пленным относись гуманно, к изменникам — жестоко, особенно теперь к изменникам-казакам, они нам значительно вреднее, чем неказаки. О пощаде для них не может быть и речи... В бою будь хладнокровен, не выскакивай вперед, но не отставай и сзади не тащись.

— А какая власть будет, если победят белые? — спросил Мишка.

— А чёрт её знает, какая будет власть. Думаю, что будет то же, что и при царизме, а свобода, о которой нам так много пели, лопнет, как мыльный пузырь. Откровенно скажу, что все эти власти я бы испорол нагайкой и прогнал бы в три шеи, да не только у нас в России, а во всём мире, и сделал бы одно государство с одним правительством, с одним столичным городом, неважно, с каким: Петроградом, Берлином, Парижем, Лондоном, Вашингтоном или Константинополем, всё равно, лишь бы упразднить эти пятьдесят девять правительств с их министрами, знатю, миллионами бездельников-трутней. А в одном правлении нетрудно было бы внедрить один мировой язык, любой, какой признает человечество. Тогда каждый мог бы ехать в любой город мира и там жить и работать — там говорят на его языке, он там дома. Со временем скрасились бы все племена и народности, произошла бы метизация здоровых, красивых, умных людей. Самое главное — войны

ушли бы в область предания, не было бы угрозы войн, не было бы надобности к ним готовиться. А на них ведь человечество тратит не меньше девяноста процентов всего своего труда.

— А какая же власть для этого государства была бы подходящей? — недоверчиво спросил Мишка.

— При всякой власти народ стал бы жить хорошо, лишь бы она была одна, но, разумеется, чтобы не было крупных богачей, захвативших себе всё, — ответил Дмитрий.

— А как же достигнуть этого, если добровольно ни одно правительство не пожелает сливаться в одно государство? — спросил Мишка.

— Только силой, только силой, и это будет со временем, я убеждён, — сказал Дмитрий. — О том, какая власть будет, если большевики будут побиты, сейчас спорят в Омском правительстве. Курицу не поймали, а уже щипают. На этой почве серьёзные трения между Колчаком и Дутовым. Колчак хочет подчинить себе Дутова, а тот обособляется. Вражда может дойти до стычек, чем, безусловно, воспользуются большевики, и мы проиграем. Эти олухи из Омска показывают пальцем на семиреченского атамана-самозванца Анненкова, вот у них козырь, но мы и сами можем сбить ему рога. Этот негодяй сместил атамана Ионова, бесчинствует по области и рядом, грабит, расстреливает и прочее. От этого террора

всё неказачье население бежит в горы, организуется в отряды, воюет против нас. Вот с такими мерзавцами попробуйте добиться авторитета в своей борьбе. Казакишки, которые присягнули ему, чуть не молятся на него. Ну ясно, кому не понравится такой атаман, который разрешает мародёрство, грабёж и насилие? Не понятно этим дуракам, что роют яму себе и другим... Авторитет наш сильно поколеблен. Ставка Колчака кишит разным сбродом: шпионами, диверсантами, выскочками. А Колчак как ослеп, он хорош — командующий на море, а на суше он задохнулся, как рыба. Его противники свили у него за спиной гнездо... Вот почему я уверен, что у белых затишье перед смерчем... погибнут все.

В наружную дверь, с подъезда, постучали. Хозяйка вышла и возвратилась с незнакомым человеком без погон, но в военной одежде. Незнакомец поздоровался со всеми, не подав никому руки. Видимо, присутствующие ему не были знакомы.

Дмитрий подошёл к незнакомцу, взял его за плечо, отошёл с ним к порогу. Пришедший что-то шептал Веренцову. Дмитрий быстро засобирался. Поблагодарив хозяев и извинившись за то, что оставляет компанию, Дмитрий подошёл к вставшему Мишке, с грустью и беспокойством смотревшему на брата. Сборы говорили о новой разлуке и, может быть, навсегда. Дмитрий вполголоса сказал, что его вызывают в штаб,

где уже приготовлено назначение на фронт под Абдулино. Он обнял Мишку и крепко поцеловал. Незнакомый офицер тоже крепко пожал Мишке руку и зашагал к двери, кивнув головой Дмитрию. Тот приостановился, в упор посмотрел прощальным взглядом на брата, потом зашагал к двери, бросив на ходу:

— Ещё месяц дам тебе отдохнуть, а потом приеду за тобой.

Как пригвождённый, стоял Мишка лицом к двери. Разлука с братом сжала сердце. Он знал, что Дмитрий скоро будет на позиции, откуда целыми и невредимыми возвращаются только по случайности. Кто вырвал у него из рук любимого брата? Кто не дал даже поговорить с ним, посидеть? Кто посылает его на смерть, чтобы больше, может быть, не увидеть никогда? Мишка бесцельно повернулся, как больной, подошёл к столу и опустился на стул, невидяще глядя на присутствующих — он не слышал их разговора, а если и слышал, то не понимал. Он думал о брате. Как бы сейчас он пошёл с ним, пусть на фронт, но только с ним...

3

В районе Кананикольских заводов шли упорные бои. Башкирия пылала в огне. Салмышская неудача белых, в результате которой они отошли чуть не до Верхнеуральска, была исправлена, и они снова перебросили свои части на правый берег Салмышья.

Передвинувшийся снова к западу фронт змеей лежал под самыми стенами восточной и южной окраин Оренбурга. Станица Благословенная была в руках белых. С фронтов беспрерывно везли убитых, чтобы похоронить их на родной земле, чтобы в последний раз родные насмотрелись на своего близкого и простились с ним навсегда. Стон стоял в вечерние и утренние зори. Вместе с петухами вставали несчастные осиротевшие, чтобы снова выливать горечь, смывать её горькими слезами, не дававшими уснуть всю ночь.

А убитые всё поступали и поступали. Большинство из них были изрублены. Как только возникал на каком-нибудь краю станицы, в какой-либо улице душевраздирающий вопль, туда бежали со всех концов. Казаков, доставивших в родное село убитых, расспрашивали наперебой по нескольку человек сразу, задавали одни и те же вопросы о своих. Приезжие, привыкшие к смерти на каждом шагу, отшучивались: «Если не привезли, значит, живой, чего пристали?» Раненых было меньше, чем убитых — раненые добивались противником с обеих сторон.

Елена Степановна по целым дням не приходила домой, стояла на улице или во дворе, куда привозили убитого. Она беспрерывно вытирала глаза концом головного платка. Когда во дворе никого уже не оставалось, шла на окраину станицы смотреть на

дорогу, по которой привозили убитых. Уже ночью приходила домой вся разбитая, страдающая, в слезах ложилась спать. Но сон к ней не шёл. Перед глазами стояли сыновья, она представляла их во всех возрастах с рождения и до последней разлуки. Ей виделись ужасы, какие теперь испытывают они на этой чудовищной бойне. Может быть, вот сейчас, в этот самый момент их, захваченных в плен, казнят, рубят или расстреливают, и там, где-то среди навозных куч или помойных ям и оврагов, останутся их тела, обезображенные и изуродованные, на съедение волкам, собакам и птицам...

Мать вытирала надоедливые слёзы, выходила во двор и долго сидела на огромном камне возле крыльца, положенном когда-то старшим сыном Митей. Её осенила надежда: Митя — начальник довольно большой казачьей части, и возможно, он находится сзади всех, а потому менее уязвим. Неужели он будет лезть вперёд?

Мысль переносилась на другой предмет горя: на среднего сына Петра. Тот в большей опасности, он не схитрит, не спрячется, ползет вперёд и там найдёт себе смерть под ужасными сабельными ударами или пробитый пулями. Петю матери как будто ещё больше жаль — кроткого, невозмутимого, во всю жизнь не причинившего никому никакого вреда, не сказавшего никому слова поперёк. Но сознание подсказывало, что он будет убит, там,

на фронте, не считаются с тем, виноват перед кем или не виноват, достаточно того, что попал в лагерь противника, значит, должен быть уничтожен.

«Неужели могут убить Митю? — думает мать. — Неужели хватит у них жестокости поднять руку на этого красавца, да ещё офицера?» Не укладывалась в голове Елены Степановны мысль, допускающая проявления злобы к её сыновьям. Она смотрела в сторону, откуда привозят убитых, прислушивалась к каждому малейшему шороху. Смотрела и слушала по ночам, когда во дворе ничего не видно и не слышно...

Созвездие Плеяд подходило к зениту. Первая звезда Персея показалась из-за соседнего сарая. Где-то далеко, на третьей улице громко зарыдала женщина, заголосила, как по мёртвому. Видимо, выла в доме, а теперь горе вывело во двор, и обходила подворье, изливала отчаянье животным, говорила им последний, горький привет от их хозяина, которого теперь не увидит никогда.

Во многих местах станицы, как и днём, жутко завывали собаки. Теперь они как будто вторили плачущей.

Призрак смерти, сиротства, нищеты, разлуки витал над станицей, каждый конский топот или стук колёс даже днём, не говоря о ночи, вызывал тревогу. Бросались к окнам или дверям, украдкой смотрели на улицу, стараясь остаться незамеченными.

От стен Оренбурга слышалась непрерывная ружейная и

пулемётная стрельба, изредка ухали орудийные раскаты. Снаряды нередко рвались над станицей, оглушительно осыпая шрапнельными осколками железные крыши школы, церкви, станичного правления, других, ещё не сгоревших домов.

Елена Степановна ходила по двору с искажённым от горя лицом. Рыдающая женщина что-то причитала, её голос то замирал, то вновь нарастал, как будто она влезала на повесть сарая.

С противоположного конца станицы послышался конский топот аллюром, галоп. Режущей болью кольнуло в сердце. Топот быстро приближался, всё больше захватывая и сжимая сердце невидимыми тупыми клещами, в висках стучало, как молотком. В воображении пронеслось: «Или какой-нибудь из сынков скачет, или кто-нибудь скачет сообщить страшную весть, которая будет изъедать сердце и сушить тело до гробовой доски...» Топот уже в квартале расстояния перешёл с галопа на рысь, беспокойно и тяжело дышал конь.

Елена Степановна застыла в ожидании, она не чувствовала камня, на котором сидела, всё тело одеревенело, лёгкие не в состоянии перевести дух, как будто кровь остановилась в жилах, глаза в испуге остановились на одной точке, во рту мигом пересохло...

Вдруг топот коня стих. Но где же всадник? Почему не стучит в ворота?.. Через несколько

мгновений раздался сильный стук через дом от Веренцовых. Как будто банным паром ударило в лицо Елены Степановны, пот выступил на лбу, катился по лицу крупными каплями. Слышно было, как открывались ворота соседей. Елена Степановна встала, по стенке, разбитая, пробиралась к своим воротам, ноги дрожали.

И нижняя звезда Персея засветилась из-за сарая, Меркурий выходил из-за горизонта. Вот-вот заря. Может, хоть солнце красное принесёт какое-нибудь утешение!..

Со двора соседей, куда подъехал неизвестный, вырвался жесточайший вопль. За ним второй, третий. Закричали на разные голоса дети. Голосившая до этого на третьей улице замолчала, видимо, прислушивалась к новому горю в очередном доме — и здесь рухнули устои всего.

Веренцова тихо вышла на улицу. Где-то на луговых озёрах монотонно ухали водяные бычки⁶, вторили вою собак и душе-раздирающему плачу в соседнем дворе.

Елена Степановна дошла до ворот несчастного дома, долго стояла, не решаясь войти. Наконец ворота открылись сами, со двора выводил потную лошадь казак с другого конца станицы. Веренцова прижалась спиной к воротному полотну, чтобы не заметили, чтобы не услышать для себя чёрную весть. Казак увидел её, подошёл вплотную, растерянно поздоровался.

— Митрия ихнего сегодня убили в деревне Сангулово, — сказал он. — Да так и не удалось его вывезти убитого, остался большевикам.

Елена Степановна торопливо спросила:

— Ну а наших чадушек-то не видел ли?

— Как не видеть, вместе были. Ваш Пётр с Митрием скакал по улице. Митрия-то убили прямо рядом с Петром. На рассвете мы пошли наступать на Сангулово. Когда заскочили в село, красные стали хлестать нас из каждого окна и с каждого двора. А когда проскочили на площадь, то у них там оказались и пулемёты. В общем, человек двадцать наших там осталось убитых и раненых.

Елена Степановна тряслась, как в лихорадке, она не могла стоять, держалась за воротное полотно и скобу. Со двора вышла мать убитого, направлялась оповестить родных о несчастье или старалась излить горе, так безжалостно сдавившее сердце.

— Милая моя кумушка, — заголосила она, — несчастные мы, горемычные, не будет нам утешения до гроба, до могилушки, нет нашего соколика больше на свете, не увидим мы его больше никогда, он брошенный теперь, весь изрубленный, выключот ему птицы ясные оченьки, — бессознательно тянула за руку на свой двор соседка растерявшуюся Веренцову.

Убитые горем матери шли по двору, держась друг за друга.

Они одинаково проливали слёзы: одна, уже ощутившая боль от выстрела в неё, другая — ожидающая спуска курка направленного на неё оружия, сознающая, что курок будет неминуемо спущен, только убийца медлил и медлил — тем мучительнее было ожидать удара. Дети матери и дети погибшего сына смешались в одну нераздельную семью, кричали, звали отца и брата.

4

В смертоносной военной буре, несшейся с запада на восток, сметая всё на своём пути, кружились люди — их несло, как пылинки или сухие листья. Уничтожали друг друга с прежней силой и жестокостью. Количество жертв не снижалось, а выросло.

На фронте красные кричали белым: «Эй, вы, господа, скоро пятки будете смазывать! Союзники вас бросили, им тоже не хочется вашей власти, а хочется советской. Переходите к нам, бросьте своего Колчака, он вас обманывает, он продался англичанам да японцам. Англичане уже в Баку приехали за керосином, а русских хотят заставить с лучинами сидеть по вечерам да нитки прясть... Эй, беляки, за офицерские погоны воюете. Погоны уж всем опротивели, их и за границей уже не носят, а вы за них дерётесь. Мы вашим пленным офицерам гвозди в погоны забиваем, сколько звёздочек в погоне, столько и гвоздей забиваем. Погоны отжили свой век, они должны умереть навечно!...»

Как ни пресекало белое командование братанье на фронте, оно случалось всё чаще. Участились переходы от белых к красным не только солдат, но и казаков. Правда, последние переходили реже — всё ещё носились слухи, что красные расстреливают сдавшихся казаков.

Северный, то есть Пермский, участок фронта Колчака трещал, как и остальные, белые здесь стали отходить, хотя и бросали в дело отборные части Попеляева и сибирские полки, но они не могли удержать Ижевские дивизии красных.

Хотя провал колчаковского фронта, особенно его южных группировок — Уральской и Оренбургской — был неизбежен, однако в Омске, в ставке правителя Сибири, этому не хотели верить. Здесь жили самой беззаботной жизнью, спешили насладиться ею. Ослепляли залитые электрическим светом залы театров и собраний, сверкали, переливаясь мириадом огней, бриллианты Калифорнии, изумруды Колумбии, алмазы Южной Африки и старой Индии на обнажённых плечах дам. Тончайший запах духов Франции туманил головы, сбивал с пути здравый разум, столь необходимый в этот критический момент. В прихотливом переплетении праздных и деловых мыслей праздные привычно брали верх...

На фронте уральских казаков белые терпели поражение и отходили к Каспийскому морю. А в

августе оренбургский фронт передвинулся на восток до Орска. Актюбинская группировка белых теснилась к стенам Актюбинска со стороны Сагарчин-Мартук. Наспех сколоченную армию под командованием Галкина⁷ Колчак бросил на поддержку белых, защищающих направление Орск—Актюбинск. Но эта армия тут же развалилась и стала стремительно отступать по пустынным, песчаным дорогам на Иргиз и Тургай, увлекая за собой более стойкие части из оренбургских казаков. Откатываясь от Актюбинска на юго-восток по Ташкентской железной дороге, поток белых дошёл до станции Джурун и разделился надвое: одни продолжали отступать через Иргиз, Тургай на восток, другие пошли через Темир на Гурьев.

По топким, песчаным дорогам и бездорожью Тургайской области тянулись в несколько рядов бесчисленные обозы на конях, верблюдах, быках. Животные еле тащили возы, останавливались, падали, гибли. Бросалось добро, люди шли пешие, умирали от голода, а больше от жажды. Автомшины, мотоциклы, велосипеды брошенные лежали на дорогах — по мелкому сыпучему песку на них нельзя было ехать.

Переход к красным целыми частями, даже казачьими, уже не казался новостью. После сдачи Актюбинска и Орска всем стало ясно, что белая армия разваливается и окончательное её уничтожение неизбежно. Грозовым

ударом подействовал на казаков переход к красным недалеко от Актюбинска казачьих отрядов Богданова и Шеина. Теперь уже не верили офицерам, уверявшим, что красные расстреливают не только сдавшихся командиров, но и рядовых казаков. Более трезво настроенные офицеры, обеспокоенные положением белой армии, уже не могли остановить катастрофы.

Лишь части, отходившие от Орска и Троицка через Кустанайскую область на территорию Сибирского казачества, не ощущали общего недостатка в транспорте и снабжении, потому что отступали по хорошим дорогам и населённым местам. Сохранив боеспособность, они в ряде пунктов: Щучинской, Семиозёрной и других — оказывали энергичное сопротивление наседавшим красноармейским частям, замедляя стремительное продвижение противника по Сибирской магистрали Челябинск—Курган—Петропавловск—Омск. Но как будто уже витало в воздухе, что это начало полного разгрома. И с каждой новой неудачей белых поднимались боевой дух и авторитет их противника.

5

Отступая через станцию Ильинскую на Актюбинск, Джурун, Тургай, Мишка вынужден был снова сесть на коня и зачислиться в войсковую часть, с которой и вступил в город Тургай. Не только его лачуги и дворы были

забиты войсками, нельзя было проехать и по улицам. Галкинская армия, балласт белых, всё пожирала на своём пути, как саранча, загромождала все ночлеги и пикеты. Отражать наступление противника она не могла из-за полной дезорганизованности и отсутствия командного состава. Это была не армия, а огромная толпа без цели и надобности, питаемая из скудных, всё более дорожающих запасов.

Сзади своей сотни Михаил Веренцов с погонами вахмистра проезжал по широкой пыльной улице захолустного, заброшенного в пустынной степи Тургая, своими землянками похожего скорее на аул, чем на посёлок, тем более на город.

Томил жаркий, безоблачный сентябрь девятнадцатого года. После выжженных солнцем степей, безводных, необитаемых пустынь даже эти грязные жилища поманили миражом отдыха. Сотню встретили квартирьеры, указали на две землянки с обширными дворами.

Из глубины пересекающей улицы Михаил услышал голос, назвавший его имя. От большой толпы офицеров отделился верховой и во весь карьер скакал к Веренцову. По его загоревшему до черноты лицу, обросшему бородой, изменившейся, когда-то грациозной посадке Мишка не сразу узнал в измученном, угрюмом-печальном кавалеристе брата Дмитрия.

— Здравствуй, Миша! — кричал на скаку Дмитрий. — Да ты совсем уже мужчина! Не понимаю, как узнал — просто потянуло к тебе!

Не сходя с коней, братья крепко обнялись и ещё крепче расцеловались трижды. Дмитрий, жёстко улыбаясь, ткнул пальцем в погон брата:

— Поздравляю. Если так будешь шагать, не пройдёт и пары лет — ты меня на лопатки положишь. Рад за тебя, очень рад, горжусь.

Михаил застенчиво, принуждённо улыбнулся, безнадёжно махнул рукой. Выражение лица говорило: э-э-э, всё это чепуха, которая так же бесследно и бесславно исчезнет, как и появилась... А если и оставит след, то только на горе самому себе...

— Ну рассказывай, как живёшь, как воюешь и прочее, — спросил старший брат, выпрыгнув из седла.

Михаил последовал его примеру.

Они повели коней в поводу по улице к штабу полка, в котором стоял подъесаул Веренцов.

— Да так себе, потихоньку, — задумчиво ответил Михаил. — Хотя и жаль, но изумляюсь правдивости твоих слов, помнишь, в начале весны в Троицке — о неизбежности нашего отступления... Вот теперь и бежим кто куда. — Дмитрий грустно молчал. Разговор прервался, как будто не о чем было говорить, как будто ни у одного из них не

прошло ничего перед глазами за пять месяцев. Всё, что потрясло их, чем необходимо было поделиться друг с другом, всё поглотилось нарастанием катастрофы, новыми кошмарами последнего времени. Это всё не выходило из головы, рвало нервы...

Они вошли во двор, в глубину которого в небелёной киргизской землянке помещался штаб полка, на что указывал трёхцветный флаг, реюющий над дверью. В землянке без стола и стульев на разостланных кошмах лежали и полусидели шестеро офицеров разных возрастов. Один из них — с погонами полковника, ниже среднего роста, непропорционально толстый с миловидным лицом и чёрными сверлящими глазками — приподнялся на локте, внимательной улыбкой встречая вошедших. Дмитрий церемонно познакомил брата со всеми офицерами. Полковник окинул всех взглядом.

— Господа, я сквозь дверь узнал, что это Митькин брат, — сказал он. — Обратите внимание, какое сходство, чёрт возьми. Митя может гордиться. Сажай, сажай гостя на почётное место.

Мишка привалился на локоть рядом с братом на полу, с любопытством всматриваясь в каждого офицера. Те группами разговаривали друг с другом. Русский молодежавый есаул продолжил, видимо, начатое раньше:

— Ну и вот, господа, о Государе Императоре...

Трое офицеров разом встретились:

— Расскажи, Глеб, а то ходят нелепые сказки.

— Вот какую версию я услышал, — продолжал есаул. — Перед падением Временного правительства государь с семьёй и приближёнными был направлен специальным поездом за границу через Дальний Восток и Японию. Поезд шёл через Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Иркутск... В это время власть взяли Советы. Большевики передали депешу в Екатеринбург, чтобы там задержали поезд и взяли государя с семьёй под домашний арест. До особого распоряжения. Поезд вернули в Екатеринбург уже из Иркутска, куда он успел дойти. Заметьте, поезд шёл инкогнито! В Екатеринбурге государь с государыней, наследником царицы и великими князьями были водворены в дом купца Ипатова, где их содержали до мая восемнадцатого года.

— Я слышал о доме Ипатьевых, а не Ипатова, — усомнился один из офицеров. — Если это так, то тут есть жутковатое совпадение: на царство Романовы избирались в Ипатьевском монастыре.

— Может, Ипатьева, — согласился рассказчик. — В это время на Сибирской магистрали восстали чехословаки. Они заняли Челябинск, другие города, осадили Екатеринбург. Губернская Чека сообщила своему правительству о тяжёлом положении города и просила дать указания: что делать с царём и царской семьёй,

если город придётся сдать. Правительство красных якобы дало право екатеринбургской Чека разрешить вопрос о пленных самостоятельно. И вот, когда Екатеринбург начали бомбить, чехословаки заняли некоторые окраины города, Губчека вынесла приговор о расстреле. В два часа ночи в покои царя вошли трое во главе с председателем Чека и попросили всех ввиду бомбардировки города сойти из бельэтажа вниз, в подвальное помещение как более безопасное. Государь, его семья и близкие — одиннадцать человек — сошли в подвал. Их поставили к перегородке из толстых досок, трое вынули маузеры, зачитали приговор и в упор стали расстреливать. Некоторые ещё во время прочтения приговора в обморок падали, их расстреливали на полу. Тела казнённых красные прятали, а позднее сожгли, чтобы их не нашли чехословаки и не использовали как вещественное доказательство.

Чехословаки, вступив в город, тут же предприняли розыски царя и царской семьи, чтобы освободить и вывезти за границу, но всё уже было кончено. Тогда из стены и пола выпилили куски досок с пулевыми отверстиями и отправили за границу. Достоверно это или нет, не могу утверждать, но, по крайней мере, так рассказывали.

— Что-то тут не совсем так, — сказал полковник, с силой хлопнув ладонью по колену. — А... впрочем, потеряв голову, по

волосам плакать... — Остальные оцепенело молчали.

Мишка дослушал до конца. У него всё перемешалось в голове. Он спешил и попросил брата проводить его до ворот. Они вышли на улицу, постояли молча, продолжая минуты вдвоём, крепко расцеловались и разошлись. Оба вытирали слёзы. Это было их последнее прощание...

6

По улицам на разные голоса скрипели фургонные и тележные колёса проезжающих беженцев, изредка громыхали патронные двуколки — их чудом провезли по мягким, как перина, дорогам через сыпучие пески Тургая.

Вперемешку с обозами брели загорелые, обросшие, голодные люди. Жители уходили от наступающих красноармейцев, вышедших из тех же, что и они, городов, станиц, сёл, хуторов, нередко состоящих в родстве с теми, кто бежал из страха быть захваченным родственниками. Страх плодила паника, искажая факты, усиливая слухи о зверствах большевиков.

Обгоняя телеги и фурунны, бесшумно, совиным полётом неслась легковая машина, разрезая фарами тьму октябрьской ночи. От полноты казавшийся неуклюжим, хитрыми, бесстрашно-прищуренными глазками смотрел сквозь дверцы машины в тёмное пространство атаман Оренбургского казачьего войска генерал Дутов. Отвалясь на мягкое сиденье, он разрабатывал план

уничтожения брата по сословию, друга по убеждениям, врага по действиям — атамана Семиреченского войска Бориса Анненкова, назвавшего себя генералом.

План зрел в таком виде: разгром и уничтожение Анненкова должны были осуществиться внезапным ударом карательной экспедиции из трёх групп. Одна — со стороны Барнаула — должна пройти севернее Сергиополя на Учарал; вторая — со стороны Каркаралинска — через Сергиополь на Лепсинск; и третья группа — южнее Каркаралинска — глубоким рейдом, не доходя до Верного⁸, повернёт на Капал и атакует атамана.

Дутов не любил советоваться. Созревавшие у него планы, видоизменяясь, иногда перерождались в свою противоположность или исключались совсем, не проходя в штабных документах. И на этот раз атаман не изменил себе, по дороге к Каркаралинску готовя нападение на отряды Анненкова.

Между тем армия Дутова, как и армия Колчака, катастрофически таяла. Её раздёргивали массовые переходы на сторону советских войск и возвратный тиф, без всякого сопротивления медицины выкашивающий целые полки. Невидимый враг сводил в могилу сотни тысяч людей. Некому было нести наряды, некому кормить коней, и животные гибли вслед за своими хозяевами.

По глухим, голодным степям Киргизии в жестокие декабрьские морозы еле двигались обозы,

переполненные больными в казачьей форме. Подвода вдруг останавливалась в поле — некому было понукать лошадей. Животные понуро стояли, тряслись от холода, падали и замерзали, не в силах тянуть повозки мёртвых.

На пикетах-стоянках стоны больных смешивались с гомеорическим хохотом сошедших с ума. В беспомощности люди лезли друг на друга, дрались или целовались, представляя перед собой врага или друга. Иногда били или целовали скончавшегося соседа. Другие выбегали нагими на мороз, кидались в снег, плыли по снегу, как по воде, размахивая руками и замерзая. Перед кошмарами наяву отступал и рассудок, чудом оставшийся здоровым.

Белая армия бежала от нападающих на неё красных частей. Отчаяние то и дело бросало белых в контратаки. В боях местного значения они даже добивались успехов, всё больше ослабляя самих себя.

Белое воинство — остатки разбитого русского самодержавия — откатывалось по Киргизии, сталкиваясь кроме всего с глухим недружелюбием, а то и с прямой враждой местного населения.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Станица Благословенная жила послефронтальной жизнью. Следы боёв, нищеты, смерти и сиротства виделись всюду. Почти

не осталось мужчин, кроме дряхлых стариков и малых подростков. Дворы опустели. Скот без хозяев голодал, ревел — его захватывала общая беда. Убитых уже не привозили домой для похорон, о погибших порой сообщали чудом уцелевшие, вернувшиеся из отступления служивые и беженцы.

Опустел и двор Веренцовых, наводил щемящую тоску. Уже и солнце заливало его без блеска, как в былые годы. В бедняцком хозяйстве недостаток чувствовался во всём.

Степан Андреевич ходил по двору, снедаемый тоской по сынам. Счастье и богатство семьи увезли они, чтобы похоронить вместе с собой где-то далеко в пустынях Азии. Степану Андреевичу чудились тени сыновей, слышался их голос по ночам с дальних улиц. Он знал, что это обман слуха, не говоря никому ни слова, приходил в избу, ложился в слезах и не мог уснуть до утра.

Елена Степановна постарела, похудела. Днём и ночью она бесвязно шептала молитвы и имена сыновей, вытирая слёзы. Всё валилось из рук. Мать как будто знала: участь сыновей умереть от тифа или пули их не минует, но долго ли ещё страдать в ожидании? Ведь ожидание мучительней самого удара. Известия о сыновьях приходили тем реже, чем дальше уходили белые в глубину Сибири и Казахстана. А с наступлением зимы донесли

слухи о массовом вымирании белых от тифа.

Возвратившиеся казаки приносили подробности о гибели сельчан, множились в поминальных книжках имена усопших, их читали на литургии, жутко объединяя плач молящихся близких.

Декабрьские ночи дышали сильными морозами — резкими, сухими. На желтовато-белом, освещённом луной снегу призрачно выделялись чёрные, обгорелые пни на пустырях сгоревших домов, они вселяли ужас, похожие на скелеты мертвецов, и пугали не только людей, но и животных.

В дикой пурге вокруг обгорелых домов терялся, западал, уносился куда-то плач и стон по новым бедам.

Давно уже не было слышно о братьях Веренцовых. Правда, изредка приносили сельчане сведения о Петре, находившемся с ними. О Дмитрие и Михаиле никто ничего не знал.

2

Нескончаемые вереницы обозов отступающих тянулись по территории Семиреченского казачества. Дутовские части стали сливаться с частями Анненкова. Во многих местах происходили стычки «оренбургцев» с «семиречками», ослабляя и без того слабые части.

По сибирской магистрали колчаковский фронт разрозненными группами подвигался уже к Ново-Николаевску. Северная группа белых под командованием

генерала Пепеляева отступала в глубинах тайги, не приближаясь к железной дороге, далеко впереди занятой восставшими рабочими.

Смутно бродили слухи о том, что Колчак где-то захвачен и казнён, но где и кем, никто не знал.

Уже с первых столкновений в январе—феврале восемнадцатого года, показавших слабость белого командования, в красном стане зрела уверенность в победе над Дутовым, а позднее — над Колчаком.

Осень девятнадцатого дышала холодом. Морозы по ночам и утрам сменялись затяжными дождями, превращающими землю в сплошное болото. Обледеневшее небо не пропускало солнечных лучей на землю — нечем было обсушить и согреть её. Сырость вызывала простудные болезни. Жались в сараи, жалобно кричали животные, словно просили о помощи, как будто знали, что зима настанет холодная и голодная, птица вся побита, много скота порезано, а уцелевшие от ножа вряд ли уйдут от него до весны.

Опустошённые войной прифронтовые сёла не могли прокормить всей армады войск и беженцев, ежечасно обращающихся за помощью к жителям. Манёвренная полевая война не могла обеспечить эту массу людей даже транспортом, не только продовольствием, поэтому на позиции нередко наставляли совершенно голодные дни. Недоедание переходило в голод, голод открывал дорогу тифу.

Перед нескончаемыми обозами колчаковской армии и беженцами распростёрся придавленный к земле, обиженный природой, голый и бедный, с глиняными лачугами, набитыми нищетой, скорее убогий посёлок, чем город — Сергиополь.

К приходу дутовских войск он почти опустел, в нём осталось не более половины жителей. Остальные разбежались в горы и глушь Киргизии. Оставшиеся чувствовали себя как на бочке с порохом, но напрасно они боялись дутовских войск — войска потеряли боеспособность. Дутовские части приехали не верхом на конях, а в бричках, навалом до двадцати—тридцати человек на каждой. Не все пассажиры этих повозок доехали до ночёвки живыми. «Гости» Сергиополя привезли около сотни умерших на последнем перегоне.

На вопросы о еде и фураже никто не мог ответить — жители сами готовились к голодной смерти.

Чужие люди окружали Михаила Веренцова. Часть, в которой он состоял, сформировали из казаков верхних станиц Оренбургского войска. Мишка ничего не слышал о своих станичниках, те не знали о нём. О Дмитрие Веренцове были разговоры, что он где-то командует полком, другие говорили — дивизией, третьи — что он убит. Полагали даже, что он уехал делегатом в Японию или к красным, к своему другу Каширину, что-то в этом роде...

Михаилу с тремя казаками было поручено вернуться далеко назад по пути отступления и направлять отставшие обозы.

В оставленных белыми населённых пунктах немало местных жителей скрывалось от колчаковской мобилизации, были и дезертировавшие из белых частей. Некоторые сёла уже управлялись Советами, хотя советских частей здесь ещё не было. С удивлением смотрели здесь на вновь появившихся кавалеристов с голубыми погонами. Одни спешили в дом, другие бежали к соседям с новостью о возвращении белых, третьи презрительно провожали глазами казаков — им нужно было поскорее убираться из этих мест, чтобы не быть застреленными со дворов местными большевиками.

Казаки с Михаилом так задержались здесь, что уже не было видно ни обозов, ни войсковых частей. Тогда они заметили опасность, в одну ночь сделали шестьдесят вёрст, догоняя своих: свои обозы, свои войска, свои погоны.

В большом посёлке Кийма Атбасарского уезда Мишка увидел реюшее трёхцветное знамя какого-то казачьего полка. По улицам сновали пешие и конные — оренбургские казаки.

— Скажите, пожалуйста, — обратился Веренцов к казаку, — какого полка этот штаб?

Казак взял под козырёк и отрывисто ответил. Веренцов подъехал к крыльцу, выпрыгнул из седла. Створки дверей

растворились, вышедший офицер, в упор посмотрев на Мишку, взял под козырёк:

— Вы не родственник Дмитрию Степановичу Веренцову, который недавно был в нашем полку?

— Да, я его брат, — сказал Михаил. — А разве теперь нет Дмитрия в вашем полку?

— Да нет, — ответил тот. — Он до сих пор не вернулся из какой-то секретной командировки.

— А дома ли командир вашего полка? — спросил Мишка.

— Да, командир в помещении, зайдите.

Мишка бросил повод коня на луку, быстро вбежал по ступенькам в коридор.

Он рванул дверь, широко открыв её. Непропорционально тучный, миловидный, с маленькими глазками, уже знакомый Михаилу командир полка сидел на оставленном на полу седле, беседуя с офицерами. Все повернули головы в сторону двери и замолчали. Стоя на пороге, Михаил подавленно взял под козырёк:

— Здравия желаю...

Командир полка тяжело встал, с опущенными глазами пошёл навстречу. Он узнал вошедшего — бросалось в глаза общее между братьями, запомнил его с того дня в Тургае, когда Дмитрий Степанович знакомил брата с офицерами штаба полка.

— Здравствуй, здравствуй, Веренцов! Давай, проходи вперёд. Погорюй с нами. — Он подал

Михаилу руку и, не отпуская, повёл с собой.

Вставшие со своих мест офицеры, поддаваясь настроению старшего, мерили взглядами молодого, с искажённо-окаменелым лицом военного.

Командир полка провёл Михаила мимо них, усадил на большие нары и остался стоять рядом, положив руку на плечо гостя:

— Три недели ждём Дмитрия Степановича... А его нет и нет. Ни о нём, ни о его команде — никакого слуха. Нехорошо на сердце... даже... плакать хочется... — говоривший шумно и как-то по-детски обиженно потянул воздух носом. — Ведь он какой? Либо добыть, либо назад не быть! Об этом не только я скажу, это мнение и господ офицеров, и верхов войска, и даже... самого Александра Ильича, — командир полка теперь уже неожиданно крепко сжимал Мишкино плечо, как будто удерживая его от чего или успокаивая его. — Да... Но не будем отчаиваться... Может, Дмитрий Степанович скоро будет с нами. Не может быть, что он погиб. Не для этого такие приходят! — Командир взглянул наконец в лицо Михаилу — по щекам того катились слёзы, он не вытирал их, не сознавая этого, думая о своём и не слушая, что говорил командир полка...

Давно уже Мишка видел опустошающе недобрые сны, из которых заключал, что с братом он больше не встретится. Но кто из

них первым уйдёт в землю, из снов понять не мог.

3

Дни катились за днями. Под натиском красных частей открывалась на восток белая армия. Кровопролитные контратаки на территории Сибирского казачества, в Кустанайской, Акмолинской, Актюбинской и других областях не оказывали влияния на ход событий. В результате стычек из строя выводился последний боеспособный состав, который не успел ещё уничтожить тиф.

Вступив на территорию Семиреченского казачьего войска, части Оренбургской группы белых направились к китайской границе по двум дорогам: одна колонна пошла с Сергиополя на Бахты, другая — южнее Сергиополя через Лепсинск, Учарал на Джаркент. Бахтынскую колонну возглавлял генерал Бакич, Джаркентскую — генерал, атаман Дутов. Два командира южного колчаковского крыла, не сказав друг другу ни слова о своих планах и намерениях, разошлись в разные стороны.

В степи погребально на разные голоса завывала вьюга... Об ушедших в отступление бродили разные слухи: что не успевшие умереть от тифа захвачены в плен и расстреляны; то — нет, не расстреляны, а сосланы на каторгу и работают в рудниках; что белые объединились с красными и воюют вместе против какого-то общего врага.

На самом же деле приказом командующего войсками Восточного, Туркестанского и Южного фронтов Фрунзе взятые в плен рядовые казаки освобождались от всякого наказания и могли даже поступать в военные школы. Когда казаки попадали в плен — здоровыми или больными, не каждая красноармейская часть нуждалась в пополнении и обузу попросту отпускали на все четыре стороны. Группами и в одиночку белые плелись домой.

От тех, кого всё же зачисляли в ряды советских войск, уже приходили домой письма, в которых с гордостью сообщалось о новых хозяевах. И родственники, измученные ожиданием худшего, радовались такому обороту дела.

Губернские и городские ревтрибуналы и чрезвычайные комиссии поначалу оправдывали даже офицеров, освобождая от стражи, если действия обвиняемых в белой армии были на занятой территории и не отличались жестокостью. Не один из таких освобождённых поступил в военную школу, чтобы стать «красным командиром».

Отряд белых под командованием бывшего командира 4-го корпуса генерала Бакича, серба по происхождению, участника антисоветского восстания чехословацкого корпуса на Сибирской магистрали в 1918 году, перешёл китайскую границу и остановился на речке Эмиль в соко-рока верстах от города Чучугон.

Отряд же атамана Оренбургского казачьего войска, генерал-лейтенанта Дутова, перейдя в Китай около Джаркента, направился через Кульджу в городок Суйдун, где и расположился лагерем.

В середине 1920 года против советской власти восстали зажиточные крестьяне сибирских сёл и станиц Петропавловского, Кокчетавского, Акмолинского и других районов. Их поддержали оставшиеся после разгрома колчаковской армии офицеры. Красные части вытеснили оставшихся на китайскую территорию. Новые «гости» Китая, возглавляемые офицером Токаревым и начальником штаба Сизухиным, присоединились к бакичевскому отряду.

В феврале двадцать первого года атаман Дутов был убит в своём лагере пробравшимся туда чекистом. Генерал Бакич, начальник штаба Смольнин и ближайшее их окружение отнеслись к этому событию по меньшей мере безразлично. Бакич, может быть, удовлетворённо вздохнул. Разбитые наголову, потерявшие и людей, и территорию, бежавшие генералы ещё надеялись на превратности судьбы, на уничтожение большевиков и на своё место при дележе спасённой России.

Интернировав русские войска, китайцы не полностью разоружали их. Белым удалось спрятать и пронести в лагерь много револьверов, винтовок и даже пулемётов.

Поначалу китайские власти обеспечивали лагерь продовольствием

по правилам интернирования, но потом, очевидно, аппетит русских надоед им, и паёк стал день ото дня уменьшаться. Одних это вынудило идти в Чучугон и его окрестности внаймы к китайцам, других — любителей острых ощущений — перебраться в этот городок для воровства и грабежей.

С марта 1920 года отряд Бакича стоял по май следующего года, когда хозяева, боясь за себя и свои пожитки, попросили советское командование помочь избавиться от непрошенных гостей. Небольшой красный отряд, перейдя китайскую границу, в стычках с белыми стал теснить их на север, к границе Монголии.

Чтобы не дать противнику соединиться с остатками разбитого в Монголии отряда барона Унгерна, красные выслали навстречу Бакичу отряд под командованием Байкалова, занявший позицию в долине монгольской речки Кобук. Наткнувшись на него, белые понесли в боях большие потери. Часть их — 220 человек — метнулась в сторону русской границы и по Чуйскому тракту ушла в глубь Алтая к добываемым остаткам повстанцев Кайгородова и Тужелея. Остальные пошли на восток, к городу Урге, где были зажаты красными в клещи, из которых немногим удалось вырваться и укрыться на китайской границе. Главные же силы Бакича — около трёх тысяч человек — сложили оружие и были конвоированы в Россию, где их вместе с офицерами распустили

по домам. Только восемнадцать доставили в Ново-Николаевск и там осудили.

Отряд Дутова, потеряв прикрытие с севера и юга, отказался идти в глубь Китая, он повернул к границе России, где вчерашних врагов неожиданно радушно приняли красноармейцы, накормили, обмундировали и походным порядком отправили до железной дороги.

Из 150 тысяч человек армии на юге колчаковского фронта домой вернулись немногим более пяти тысяч. Так закончила существование Южная группа Колчака, действующая на фронте Челябинск—Троицк—Орск—Актюбинск—Челкар.

4

Осенью 1919 года в Благословенной расквартировалась кавалерийская часть Красной армии. Во двор Веренцовых въехали семь всадников.

— Ну, дядя, как живёшь? — задорно спросил красноармеец вышедшего из землянки Степана Андреевича, нерешительно подходившего к всадникам. — Проводил, говоришь, сынков с белыми-то? Нас, поди, не с охотой встречаешь?

Веренцов молчал.

— Чей это дом? — спросил другой.

— Наш это дом, Веренцовых, — ответил хозяин.

Елена Степановна робко шла за мужем, прислушивалась к разговору.

— Знаем, знаем эту фамилию, слышали, — сказал красноармеец и спрыгнул с коня, снова обращаясь к хозяевам, стоявшим неподвижно, как бы в ожидании приговора. — Ну как, старшего сына записали в поминание или нет? Если не записали, то запишите. Его поймали и расстреляли, — серьёзно сказал он.

Веренцовы недоумевающе моргали глазами.

— А Петя и Миша, как они-то: живы, штоль, аль нет? — спросила мать, смахивая фартуком слезу.

— Никого больше не знаем, а про Дмитрия точно известно, что расстреляли, — отрывисто сказал красноармеец и повёл коня на задний двор вслед за товарищами.

Родители стояли как окаменелые. Тяжёлым камнем сдавило грудь Степана Андреевича. Он повернул голову в сторону жены, сказал дрожащим от слёз голосом:

— Снохе-то не вздумай говорить, да и детишкам тоже. С ума ведь сойдут, бедные. А, может, ещё и неправда. Теперь всё наболтают, только слушай.

Елена Степановна тихо голосила.

Отец и мать топтались на месте, не зная, куда идти. Казалось, что каждый шаг принесёт только новое поражающее известие, новое горе.

Красноармейцы не ошиблись: Дмитрия уже не было в живых. Только погиб он по-другому.

Во главе семи казаков подъяесаула Веренцова командировали для выполнения особого задания далеко в сторону наступающей в Киргизии Красной армии. В двадцати—тридцати верстах от своей части разведка встретила большую конную группу красных и стала отходить.

Зная близость Ишима, под углом преградившего путь белым, отряд красных разделился на две части — одна пошла глубоким фланговым обходом слева, чтобы выйти к Ишиму и пересечь путь отступления белых по берегу реки, другая слегка теснила казаков, направляя к реке.

Вот и крутой берег Ишима... Внизу бурлит жёлтая вода. Казаки поворачивают налево, вниз по течению. Обстреливая их с верха, нападающие задели пулей выше локтя руку казака Громилина. Тот крепко выругался, по-звериному оскалившись и рыча, выхватил клинок и во весь карьер бросился на красноармейцев. Его сокрушающий тяжёлый клинок неизменно нёс гибель противнику на австрийском и германском фронтах. Громилин не знал равных себе, не считал врагов, когда злился. Вот он уже в нескольких метрах от группы в несколько десятков человек, по нему беспрерывно щёлкают выстрелы с коней. Пуля решила его судьбу, пробив голову.

Когда Громилин рухнул под своего коня и Дмитрий увидел гибель одного из лучших своих

соратников, он сверкнул глазами и закричал:

— Братцы, станичники! В клинки на эту сволочь! В атаку! — и во всю мочь бросился на преследующих, прежде чем казаки развернулись для атаки.

Веренцов врубился в конную группу и тут же был изрублен. Следом постреляли и порубили остальных. Тела их остались лежать на берегу Ишима на съеденье и расклёвывание хищникам и птицам.

Победителями были казаки, перешедшие на сторону красных под Актюбинском во главе со своими командирами Богдановым и Шеиным — близкими друзьями Дмитрия Веренцова...

5

Лютой, морозной январской ночью в ворота Веренцовых постучали. Это переполошило весь дом — неурочный приход мог принести только ужас, горе, страдание, открывать ворота никто не решился, кроме Степана Андреевича. Он тихонько встал и старчески поплёлся к двери. Не было в нём прежней твёрдости казацкой походки, последние три года пригнули его чуть не до земли, иссушили тело, исковеркали сердце, помрачили ум своими чёрными картинками. Он и теперь плёлся как бы машинально, безразличный ко всему.

Вьюга во дворе бросала в лицо холодные колючие горсти снега, захватывала дух каким-то

безвкусным газом. Предчувствие говорило, что громовые удары слухов должны смениться ударом грозы, безжалостно уничтожающим всё вокруг, превращающим в пепел, в землю.

Степан Андреевич с силой протиснулся к воротам, взялся за холодный запор и подавленно спросил: «Кто там?» За воротами чуть слышно, как из могилы, отозвался женский голос: «Это я, дядя Степан, откройте». Степан Андреевич не узнал этот голос, всё же отодвинул задвижку и надавил на железную защёлку. Малое полотно открыл ветер. Перед Веренцовым выросла фигура, с головой закутанная в шаль. Она равнодушно обронила: «Здравствуйте» — и пошла мимо хозяйина во двор, направляясь к убогой землянке, служащей теперь пристанищем семьи Веренцовых после сгоревшего дома. Степан Андреевич последовал за ней. В сенях он сам нашёл скобу и потянул дверь. В сени хлынул тёплый вонючий воздух, уступая место белому морозному пару. Клубы пара плыли по полу, кидаясь под образа, мгновенно теряя седую окраску.

Женщина перешагнула порог, перекрестилась на образа и тихо поздоровалась с прижавшейся к печке Еленой Степановной и сидящей на нарах Наташей.

— Уж и не знаю, как вам сказать, — начала она нехотя, — я стояла сегодня на базаре, подошла форштадтская женщина и

спрашивает: «Вы откуда будете?» — «Благословенская», — говорю. «У вас есть там Веренцовы?» — она спрашивает. «А как же, — говорю, — у нас много Веренцовых — дворов восемь». «Да вот, — говорит, — мой сын письмо прислал из Красной армии, а в этом письме написано так: «Мама, передай в Благословенку Веренцовым, что их Михаил убит. Я его сам видел убитого в последний день моего перехода из белых в красные». Вот так она и сказала. Я оттуда гнала лошадь чуть не в карьер и в трактир обедать не заехала. Эта женщина мне свой адрес записала на бумажке, там где-то она, в горшке, эта бумажка, я уж сейчас не стала искать.

Степан Андреевич стоял около нар, теперь он сел, положив голову щекой на ладонь, слёзы текли через ладонь. Он без звука всхлипывал, как наказанный ребёнок, которому не велят плакать.

Елена Степановна лежала на нарах, с ней была горячка.

Вся в слезах, Наташа ухаживала за ней. Наутро, ещё до света Наташа поехала по указанному адресу.

Вечером она вернулась бледная, как стена. Её пуховая шаль смёрзлась от слёз и стояла колом. В письме у форштадтской казачки всё было так, как передала вчера посёлочница.

Рухнувшие родители после подтверждённого известия о втором сыне начали хиреть, сжигаться в комок с каждым днём.

Дни же текли неизменной чередой. Робко, нерешительно, в одиночку в станицу понемногу возвращались казаки. Старались приходиться ночью, чувствуя на душе немало грехов. Но теперь их никто не преследовал, наоборот, даже представители местной власти встречали их, как дорогих гостей, тем более что многие из пришедших уже побывали в Красной армии, воевали на польском фронте, на подавлении кронштадтского восстания.

В Красной армии служил и средний сын Веренцовых, Пётр, от него пришло несколько писем. О Дмитрие Веренцове никто ничего не знал. О Мишке ходили разные слухи: одни говорили, что он ушёл за китайскую границу, другие — что служит в красном кавалерийском полку, третьи энергично утверждали: убит. Всё сводилось к тому, что Мишку никогда больше не увидеть. Горе и печаль безысходная матери и отцу до гробовой доски. Тяжело, безрадостно, безутешно...

6

Мартовское солнце принесло на землю свои благодатные лучи. Снег стал рыхлеть. В полдень на солнце от проталин поднимался пар. Не улетавшие на зиму птицы, исчезнувшие в лютые морозы, теперь весело кричали на разные голоса с крыш, заборов, плетней, мусорных куч. Даже воробьи пели по-своему мелодично и радостно.

Весеннее настроение вызывал первый грач, когда он с гордой осанкой, подняв нос, выходил гулять по мусорным сугробам.

Показались перелётные птицы, зимующие далеко у берегов Средиземного моря, в Северной Африке. Родовой инстинкт гнал их сюда, в места, не совсем ещё освободившиеся от снега. Иногда они замерзали, погибали от бескормицы, не найдя открытых рек, обнажённых полей и талой воды, бессильные остановиться перед временем любви, откладывания яиц в новых летних сибирских, уральских гнездовьях...

Степан Андреевич тихо вышел во двор, без мыслей смотрел по сторонам. Так же бесцельно пошёл он на скотный двор. Там было пусто, только брошенная красными худая лошадь в лишайных пятнах смотрела на него печальными глазами. Степан Андреевич машинально повернулся и пошёл за ворота. Какая-то сила тянула его туда. Привалюсь спиной к воротному столбу, стоял, смотрел на тёмный сугроб посередине улицы. Как будто и сейчас ему видны были следы коня на этом сугробе, когда сыночек Миша на Масленицу вскочил на коня на этот сугроб, и конь, увязнув до живота, вначале лёг на снег, потом как будто спохватился, что увидит хозяин и будет бранить друга Мишку, — перелез на животе на другую сторону сугроба и вихрем унёс Мишку по улице. Степан Андреевич

смотрел из дома в окно, грозил пальцем оглянувшемуся сыну и кричал: «Экий сумасшедший чертяка, коня-то изломаешь, я вот тебе, сукин сын, дам вечером — как по сугробам лазать...» Да, хорошо, что не было в это время Степана Андреевича на улице, а то бы обязательно огрел сына какой попало чурпалкой или кинул бы мёрзлым помётом...

Долго потом Степан Андреевич видел эти следы, пока не растаял весь сугроб. А вот если бы сейчас Мишка скакал на коне, даже пьяный бы скакал, и тогда бы Степан Андреевич не сказал бы сыночку ни слова.

Далёкое детство сына вспомнилось ему, он перебирал в воображении картины проказ его. Вспомнил, как Мишка чуть не замёрз, когда бежал за отцовскими санями на мельницу; как громил сестрёнкины куклы, а ему, отцу, приходилось быть судьёй между дочерьми и сыном; в воспоминаниях он дошёл до минут разлуки в Оренбурге в январе девятнадцатого, когда сын в последний раз обнял отца, поцеловал — и заплакали оба, прощаясь навсегда.

И старший сын, Дмитрий, увиделся Степану Андреевичу — с военной щеголеватостью ладной фигуры, упругой походкой, ездой на коне... О многом передумал Степан Андреевич — чего не увидеть уже никогда. Всё унесли с собой сыновья в могилу. Если и осталось маленькое утешение,

это Пётр, который пока ещё жив, а дальше тоже неизвестно. Пётр пишет, как участвовал в знаменитом будённовском рейде, когда Будённый за шесть дней вбил молниеносный, страшный клин во фланг и тыл польских войск, пролетев со своей кавалерией от Днепра до Вислы, разрушив польскую военную машину вместе с планами польского командования овладеть Москвой...

Как шилом кто-то кольнул Степана Андреевича в сердце, он взглянул вдоль улицы: с противоположного конца шла женщина. Не было в ней ничего необыкновенного, другие прохожие опережали её, но как только Степан Андреевич увидел эту фигуру, он уже не мог оторвать напряжённого взгляда. Он нервничал; казалось, что женщина идёт медленно, хотелось, чтобы та ускорила шаги, хотя она и так спешила.

Уже видно было её разгорячённое улыбающееся лицо, она вытирала глаза. Веренцов всё не узнавал её.

— Дядя Стёпа, — сказала подошедшая дрожащим голосом, — уж и не знаю, как вам говорить... Не плачьте и не горюйте, доподлинно известно, что ваш Миша жив...

Степан Андреевич побледнел, обильные слёзы застлали ему глаза. Хотелось рассмотреть, узнать женщину, но он так и не узнал её, даже и позднее. Он не знал, что сказать, застыл на месте, потом попятился и сел на

скамеечку. Тем временем женщина проскочила в ворота и побежала в землянку. Через минуту оттуда выбежала Елена Степановна и с каким-то диким рёвом бежала, как молодая, навстречу мужу. Держась друг за друга, разом обессилевшие, они поплелись в землянку.

— Вот смотрите, — сказала им Наташа, разворачивая помятую бумажку величиной с ладонь и поднося к глазам Степана Андреевича. Тот ничего не мог разобрать. — Поля говорит: в городе, на базаре видела пожилую женщину из Форштадта, которой сыновья написали из Сибири, что с ними наш Миша. Надо скорее ехать в город, разыскать её и посмотреть письмо.

— Ничего я, дочка, тут не разберу, да и некогда рассматривать, а поезжай поскорее в город, вот и всё тут. Ты пока собирайся, а я запрягу, — сказал Степан Андреевич и направился к двери.

В Оренбург она выехала в предвечерний час, когда во многих церквах звонили к вечерне. Наташа, не стесняясь прохожих, широко крестилась на каждую церковь, встречавшуюся по дороге. Направляясь к Форштадту, она миновала зелёный базар и поравнялась с огромными монастырскими кладбищами, кресты и ограды которых смотрели на неё через низкую стену. Тупо заныло сердце Наташи: может, и муж лежит где-нибудь под крестом и холмом земли, вероятнее

всего, вот на этом кладбище, которое так притягивает к себе, пугает жуткой, призрачной тишиной. И всё же неотступно хотелось смотреть и смотреть на эти холмики и эти кресты.

Скажи ей кто-нибудь, что здесь похоронена первая и забываемая возлюбленная мужа, Наташа, как родная, поплакала бы на её могиле, даже зная, что Миша любил, а может быть, до сих пор любит её больше, чем Наташу.

С верстовой стеной кончилось кладбище, Наташа свернула направо, потом налево. Это была Могутовская улица. На одном из её углов выделялся огромный шатровый дом, на который и показал прохожий.

— Да, вот у меня два сынка где-то там, — сказала Наташе хозяйка дома, — тоже от них не было никаких слухов, а вот теперь прислали письмо.

Старушка выдвинула ящик швейной машины и вынула квадратный листок, вырванный из газеты. Братья писали: «Проездом из Алтайского края в Новониколаевск мы находимся в Барнауле, с нами вместе состоит в части благословенский Веренцов». Имени не было.

Наташа не помнила, как благодарилась хозяйку и всех в доме. С высокого крыльца в десять—двенадцать ступенек она слетела тремя шагами. Подбежала к коню, поцеловала его в щёку около глаза, дрожащими руками расправила вожжи и, не слушая хозяйку,

которая уговаривала переночевать из-за позднего времени, выехала на темнеющую улицу.

Елена Степановна не вставала с колен, проводив в город Наташу, до глубоких сумерек молилась, чтобы в письме форштадтских казаков было имя её сына, чтобы сноха привезла именно такую весть.

Степан Андреевич самодовольно улыбался, непрерывно теребил бороду и приглаживал волосы со лба на затылок. Он обошёл всех соседей и родственников, чтобы поделиться радостью и выслушать поздравления, отчего на душе делалось ещё радостнее. За несколько часов Степан Андреевич как-то выпрямился, помолодел, приосанился, даже шутил по-прежнему с друзьями-соседями. Несколько раз заходил в избу, пытался заговорить с женой, но та махала рукой: просила не мешать ей молиться для общей их пользы. Он с улыбкой, безнадежно махал в ответ рукой и уходил на скотный двор. Он сегодня готов был свалить животным всё сено, до этого тщательно экономленное, а когда шёл к соседям, то говорил, смеясь:

— Чёрт их знает, што за люди: то его убьют, то воскресят, то уморят тифом, то он опять у них ходит, свет коптит, этот Мишка. Уж сколь разов его хоронили и опять откапывали, я уж и сам не пересчитаю, — старался он показать себя равнодушным к любым

слухам. — Вот баба моя, всё поминанье перемарала: то за здравие его запишет, то за упокой, и так разов пять писала. Как запишет наново, так бежит в церковь молиться, весь платок, да что платок — шаль-то всю засморкает, а оттудова придёт — глаза на лоб лезут от слёз. Вот оне какея, бабы, язви их, слабые. Вот мы, мужчины, не такие, мы твёрдые, да ещё казаки, а казакам плакать не полагацца. Вот она и севодня: сколь разов ни заходил в избу, ну, ползает и ползает по полу, наверно, все коленки ободрала, а я без обеда остался и, наверно, без ужина спать лягу. Ну да ладно, пусть потешится, уж больно слух-то хороший. Мишка придёт, то над эхтими поминаниями насмеёмся с ним вдосталь. Наташка завтра приедет, наверно, тоже все места будут мокры от радости. А вот что ни говори, кум, всё-таки жалко их, сукиных сынов. Вот быгто теперь немного отвалило от сердца, хоть Михайло-то жив. А вот Митрия-то уж, наверно, не увидим никогда. Он ведь настоящий казак, он ни за што не пойдёт в плен, будь это большевики или буржуи, али австрийцы. Это настоящий запорожец Тарас Бульба. Раньше ведь казаки никогда в плен не ходили, а теперь, как воробышки с кола на кол перелетают, как только на них кто тулуп выворотит. Я ни за што не думал, што Мишка в плену окажется, думал, што он от Мити не отстанет ни на шаг,

а вот он характером-то не дошёл до Мити, — сидел Степан Андреевич верхом на огромном бревне соседа и рассказывал ему о своих взглядах на сыновей и их характеры, а сосед тем временем строгал грядку, соглашался с рассказчиком, потерявшим счастье и наполовину нашедшим его вновь...

Время подвигалось к полуночи. Степан Андреевич сидел на нарах, свесив ноги. Елена Степановна грела спину около печки. В ворота резко постучали. Тревожный стук привычно уже вызвал дрожь в теле.

Степан Андреевич не торопясь оделся, вышел и, медленно обходя лужи, направился к воротам.

— Да што вы там так долго не открываете? — раздался голос Наташи.

— Дак мы тебя не ждали, дочка. Разве можно так поздно ездить? Вот отчаянная голова, — отодвигая задвижку, укоряюще заметил Веренцов. — Ну, как дела? Говори скорее!

— Дождёмся, дождёмся мы своего Мишеньку, папаша. Теперь только ждать — и всё, хоть десять лет. Всё от сердца отвалило. Я оттудова не видела, как доехала, а туда ехала, думала, что выехала ещё до воскресенья.

— Ну, чего там написано? Скажи скорее, ради Христа, не тяни.

— Ну, просто написано, мол, дескать, мы в Сибири, а с нами вместе Веренцов, а имя нет.

— Как в Сибири? Значит, на каторге? — спросили родители.

— Ну зачем на каторге? — поправила сноха, — служат где-то в Сибири тоже, на конях. Они пишут: «Проезжаем», значит, не пешком ходят, а ездят.

Елена Степановна заплакала:

— Ну зачем опять в казаках служить? Лучше бы в солдатах служили. Солдаты-то ведь все большевики. А то опять против них. Ой, Господи, Господи, опять печаль. Да и имени-то нет, может быть, и не он. Веренцовых-то ведь много. О-хо-хо-хо-хо, это не утешение...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

В одну из зимних ночей 1921 года явился домой средний сын Веренцовых, Пётр. В Красной армии он прослужил около двух лет, и теперь, как говорил, полностью очистившись от белых грехов, вернулся настоящим, закалённым в боях красноармейцем. Встретили его со слезами радости и горя.

По-прежнему не было известий от Михаила. Сообщение форштадтских казаков не подтверждалось. Они прислали уже несколько писем, где ни слова не было о Веренцове. Их мать по просьбе Наташи несколько раз просила сыновей сообщить о Веренцове, но, очевидно, письма терялись на почте. И о Мишке

опять пошли разговоры, сводившиеся к тому, что он умер или убит. Опять говорили, что из отдела «О здравии» в поминание раба Божьего Михаила, пожалуйста, надо переписывать в отдел «О упокоении».

Если священник на амвоне читал поминание и доходил до «раба Божьего Михаила», поминная его вместе с живыми, Елена Степановна сморкалась в юбку, метала злой взгляд в сторону попа и шептала: «Нет уж, видно, Царство небесное надо ему говорить, нечего тут зря болтать тебе, косматому дьяволу. Фу, прости, Господи, мою душу. Ведь я же сама подала ему поминание». Идя домой, терзалась: куда же записать Мишку.

Уже многие советовали Наташе покинуть дом Веренцовых и выйти замуж: «Что зря там околачиваться?» Наташа колебалась, хотя уже казалось порой, что она здесь лишняя.

Уже некоторые словоохотливые «женихи» заводили разговоры о погоде, о хозяйстве, о семье, чтобы потом намекнуть, как плохо, мол, жить одной, а женихов-то теперь днём с огнём не найдёшь; что теперь девок-то брать некому, хоть за границу вези, а уж баб-то и не подумает никто сватать; что, мол, теперь бабы не должны зевать, когда присваивается какой-нибудь; что Наташа уж не так молода, как ей кажется, а пройдёт год-два — и совсем никто сватать

не будет... Наташа терялась, но засевавшая мысль о возвращении мужа не давала ей думать о чём-либо другом.

Так прошёл ещё год. Наташа несколько раз слёзно просила форштадтских казаков написать о Михаиле, но ответа не было.

В праздники она завидовала подругам — те дождались своих мужей или «боле-мене» удачно вышли замуж и теперь вместе ходили в церковь, в гости, гуляли в компаниях. Все они были счастливы, как казалось ей. При встречах жёны старались похвалиться мужьями, и каждая подчёркивала, что не следует ждать того, чему нет возврата. Наташа понимала эти намёки и в душе разделяла их, осуждая себя за упрямство.

Время шло, не принося успокоения. Подруги к Наташе приходили теперь даже с дальнего конца станицы. Разговоры чаще всего вертелись вокруг банально-непристойного, весёлого и необязательного, пьянящего, как вино. И она поняла: оставался шаг до черты, переступить которую значило отказаться от Мишки.

Наконец к Наташе пришла Надёжка.

— Ну, Наташа, нам нечего теперь сердиться друг на друга, нечего нам с тобой делить, — всё больше возбуждаясь, говорила Надёжка, — я ведь только знакома была с Михаилом, а быть у нас с ним ничего не было с самого

детства и до самой его смерти. Я только дружила с ним, как с братишкой, привыкла к нему и всё. Если бы вот сейчас он был жив и пришёл домой, то я бы с ним и разговаривать не стала, я уж его давным-давно забыла. Всё-таки он гордый и высокоумный был у тебя, язвы его, Царство ему небесное, за это я его просто ненавидела. Уж как только ты с ним и жила, бедняжка, мне просто жалко было тебя всегда. Давай-ка теперь не будем отбиваться друг от друга. Ты ментом забудешь этого прощельгу, не тем будь он помянут. Он ведь сколь над людьми надсмехался? Чтоб ему в тартарары... тьфу, прости, Господи, заболталась я тут с тобой. Мне надо идти.

Наташа слушала, опустив голову, потом взглянула на Надёжку, сверкнув глазами после её проклятия.

— Давно ли он тебе такой постылый стал, сучка ты этакая? — сказала она. — Забыла, как голяшками сверкала да задом крутила перед ним? А-а-а, заткнулась? Негодница ты такая!

— Фи-и-и, — свистнула Надёжка, — только и свет в окошке — твой Мишка, — он сам за мной бегал, как кобель по мясным рядам, а я им не больно-то нуждалась, просто убегала от него, да всё.

— Не ври, не ври, — перебила Наташа, — ты сама говорила, что каждый вечер тебя потягота

берёт, когда лежишь на постели и думаешь о нём. А когда встретишь его, то трясешься, как в лихорадке.

— Фу ты, ну ты, трясусь, нашла перед кем трястись. Это тебе Верка наговорила, я знаю. Врёт она, чертовка. Я его всегда прогоняла от себя, а он нейдёт и нейдёт, «Люблю, — говорит, — тебя, Надя, да што хошь со мной делай». А с женатым-то я с ним никогда не разговаривала, где он идёт, дак я обойду за версту. Ну, это всё — наплевать. Давай дружить будем. Ты сегодня приходи ко мне вечером, — тихо, чуть не шёпотом говорила Надёжка, — пойдём с тобой в одно место. Ух там и весело, а ребята какие! У нас с Анюткой уже есть, ну, и тебе найдём. Приходи обязательно!

Наташа не ответила.

2

Апрель принёс влажные циклоны. Засиневший в низинах снег превратился в мутные, смешанные с шугой воды. Они съедали береговой снег, бешено рвали по оврагам, с огромного яра низвергались в пучину Урала, копая огромные колодцы. Шум береговых водопадов сливался в монотонный гул, временами заглушаемый громовым грохотом рухнувших глыб из подточенной водой кручи.

Последние льдины неслись по Уралу вслед за ушедшими ледовыми полями. Поспешной силой

ледовых скопищ их выдавило, выдвинуло на берег. Подтаивая, они белели на илистых откосах... Поднявшаяся от заторов вода вдруг снимала их, освобождая от берегового плена, и возвращённые в материнское русло спешили за оставленной семьёй.

Скручивая мутные струи, Урал бежал в лоно Каспия. Чернели от дичи затоны и ерики. С юго-запада нескончаемо тянулись стройные караваны гусей, лебедей, журавлей, торопливо мешались тучи уток.

От раннего утра до позднего вечера стекали с небосвода трепещущие трели жаворонков.

По ночам доносились с воды неугомонный шум плавающей, плещущейся, кричающей дичи, с полей — мелодичные зовы журавлей.

Пестрели последними островками снега поля. Придирчиво осматривались, починались телеги, полевой инвентарь... По вечерам на крутой берег Урала и у дворов с солнечной стороны, где было уже сухо, собирався народ, выманенный из домов весенним теплом. Чего только не говорилось здесь — под многоголосье перелётных птиц, шум воды, грохочущей с яра! Вспоминали об ушедших в отступление и не возвратившихся родных и знакомых, погибших от тифа, от пули и шашки, от голода. И опять заводили плач, как будто покойник умер только вчера и сейчас лежал в переднем углу.

Не знающие горя дети тут же играли, резвились в весенней благодати жизни — даже те, у кого погиб отец — последний кормилец семьи. Они уже всё забыли.

Влажные, обещающие вечера дышали любовной истомой. Надёжка, не знающая на себе ничьей узды, переметнулась в компанию девушек. Больше, чем любая из них, знала Надёжка о тёмной тайне женского магнетизма. Изредка она ходила к Наташе, хотя не могла не видеть её холодности.

3

Дни семейные мешались с днями хозяйственными в глупом недоумении перед днями политическими. Коверкались устои старого — везде, где был человек. Общественную землю поделили на «души» — раньше у казаков землю получал только мужчина, достигший шестнадцати лет, теперь каждая «душа» получала пай.

Крестьян, проживающих в станицах, приравнивали к казакам, наделили земельными и лесными угодьями. Бедноту объединили в «комитеты бедноты» для совместной обработки земли инвентарём и машинами, их щедро давали в кредит Кредитные товарищества. Батраки, работающие у зажиточных, были застрахованы, их заработная плата закреплена договорами. Всё это до того изумляло стариков, что ни о чём другом они не говорили. То и дело на

общих собраниях толкли воду в ступе, доказывая своё — хорошее или плохое — в новых порядках, в зависимости от того, к каким прослойкам принадлежали спорящие.

Степан Андреевич часто, сидя во дворе, высказывал своё удивление по поводу новой власти.

— Гы-ы, антиресно, — говорил он сам себе или соседу, — приезжают эфти шефы, да вон начальники всех красных, из эфтой же Чеки, шголь, дак ходят по землянкам, по дворам, лезут в каждую дыру, где должна быть дверь. Там вонища, аж в носу вертит, в землянке-то и теляты, и ягняты, и дети. Ну а они заходят, смотрят, всё спрашивают, не брезгуют. Вон, к Палагее, к вдове, после убитого мужа, пришли, а она спряталась, думала, за мужа и её арестуют, а оне обсмотрели всё и дали ей зерна: «На, — говорят, — получай, корми ребятишек и сама ешь».

— Вон они какие чудные. А потом: как кто захворает, велят вести к дохтуру, да што — людей, собак и то велят лечить. Гы-ы, вон фершал свою белу собаку уж два раза водил на верёвочке в город, к какому-то ветринуру, шголь. Да я ребятишков-то не возил, не отрывал коня от работы, особенно летом. А што толку в этом? Да ничего: кому што на роду написано, то вози не вози, а если ему умереть, то он всё равно умрёт, а жить ему, дак ево насильно в землю не утолкнёшь...

Подобные разговоры велись в каждом дворе.

4

Тёплая, солнечная, золотая стояла осень. У подъезда большого оренбургского здания с краткой вывеской «ГПУ» на карнизе с чемоданами, чемоданчиками, дорожными узлами и сумками толпился народ. Одни не решались войти в учреждение, толкались на самом подъезде, хотя очередь их давно прошла, другие сразу поднимались по ступенькам и исчезали за дверями, проходя в кабинеты. Внутри здания были недолго.

На расспросы очередных вышедшие с улыбкой отмахивались, на ходу бросали: «А вот заходи, там узнаешь, как и что...» Но заходить многие всё же не решались, ждали следующего выходящего и опять задавали тот же вопрос, на который им или не отвечали, или отделялись недоумённым: «Да шут знает, как будто ничего, а не знай... Разве у них поймёшь?»

Учреждение это было Государственным политическим управлением, а толпившиеся около — прибывающие из разбитой колчаковской армии военные. Одни уже успели побывать красноармейцами после колчаковской и дутовской армий, другие не подходили по возрасту или здоровью и шли домой, третьи посидели где-нибудь в Доме Принраб (Доме принудительных

работ) или концлагере и, освободившись, тоже ползли домой. Все они обязаны были зайти в местные ГПУ «для отметки», не знали, что это такое, и ломали головы в догадках. У одних «душа была не чиста», другие боялись наговоров односельчан. Многие не только заходить сюда, но и проходить мимо боялись. Но рано или поздно, а заходить было надо, и они наконец решались, вскоре выскакивая, вытирая пот, красные, как из бани.

— Фу-у-у, грёп её в спину. А уж как я боялся-то, аж поджилки тряслись, — делился вышедший с ожидающими. — Ну, теперь, кажется, все мытарства прошёл. Ребята-товарищи-господа из гепею сказали: «Ступай домой к своей бабе насовсем». Ей-богу, не вру. Вот так штука. А ведь што нам офицеры-то говорили! У-у-у... — и, махнув рукой, чуть не бегом скрывался за угол служивый.

С небольшим чемоданчиком в одной руке и узелком в другой подошёл к подъезду ГПУ казак в шинели. Усталое бледное лицо его говорило скорей о городском, чем деревенском происхождении. Подойдя, он учтиво поздоровался с очередными, спросил, за кем должен будет входить. Ему ответили:

— Исповедуют-то скоро и семишник не берут, а вот все как-то боятся заходить к ним, чтобы не оставили мышей ловить да блох давить в подвале. Ну, вот и жмёмся, не заходим в эфтог вен-терь, как караси. Если храбрый,

при напролом, в затылок не становись.

Подошедший подумал, достал какую-то бумажку, сложенную вчетверо, и после некоторой паузы прошёл мимо прижавшихся к стене казаков и открыл дверь в обширную, заставленную конторскими столами комнату.

За столами сидели люди в военной форме со знаками различия от одной «шпалы» до «ромба». Вошедший подал свой документ первому к двери человеку за столом.

— Это не сюда, товарищ, а вон туда пройдите, через нашу комнату, к товарищу Подольскому, — показал рукой в глубину здания сотрудник с двумя «шпалами».

Посетитель прошёл в следующую комнату с двумя столами, за одним из которых сидел военный с такими же двумя «шпалами» на отложном воротнике защитного френча. Это и был Подольский. Он взял из рук казака справку, выданную демобилизационной комиссией, долго, внимательно изучал её. Окинув пристальным взглядом стоящего перед ним, сделал какую-то отметку в своей тетради и, вернув справку, крепко пожал руку казаку:

— Будем знакомы. Наше учреждение шефствует над вашим Благословенным посёлком. В воскресенье я и два моих товарища приедем к вам. Там увидимся ещё.

— Буду рад знакомству с вами. Прошу, заезжайте прямо ко мне в дом, какой он там ни есть.

— Даю слово, заедем, ждите. Нам грамотные люди нужны, а у вас там ни в Совете, ни в клубе работа ещё не начиналась... Итак, враги в недавнем прошлом делаются сегодня друзьями, — загадочно рассмеялся Подольский и ещё раз пожал посетителю руку.

— Да, у русских это проще всего: сегодня дерутся, а завтра друзья — водой не разольёшь, — так же загадочно усмехнувшись, сказал казак. — У русских мести нет, как на каком-нибудь Кавказе, да ещё «кровной», средневековой.

— Поэтому русские бьют всех, когда они живут в дружной семье, — сказал Подольский уже в спину уходящему.

— Так точно, так будет и впредь, — ответил, оглянувшись на него, казак, прежде чем выйти к ожидающей его очереди.

Из очереди к нему, как и раньше, посыпались одни и те же вопросы. Вышедший тихо и внятно сказал, не обращая ни к кому:

— Если бы нам пришлось расплачиваться шкурой за всё, многим из нас шкуры бы не хватило, пришлось бы доплачивать костями... Но советские начальники, видимо, решили красным карандашом крест поставить на наших грехах, да и возиться-то им с нами уж надоело, вот и отпускают на все четыре...

О циркулярном письме ЦК РКП(б) от 29 января 1919 года о массовом беспощадном терроре ко всем вообще казакам путём поголовного их истребления ни товарищ Подольский, ни другие ответственные товарищи из ОГПУ возвращавшимся с фронтов Гражданской войны служивым по вполне понятным причинам не сообщали.

5

Василиса, другая сестра Мишаила Веренцова, отдана была замуж в станицу Красноярскую до германской войны. Там она прожила с мужем четыре года и в революцию переехала на жительство в Форштадт — пригород Оренбурга.

Мишка бывал у сестры несколько раз. Выйдя из здания ГПУ, он направился в Форштадт узнать: живёт ли сестра там. После всего, что пронеслось с революцией, её там могло и не быть.

После долгой разлуки сердце непривычно колотилось. Остались ли родные в живых, узнают ли?

Вот вдаль по улице показался дом. Хотелось бежать к нему, но ноги налились, как свинцом, и не слушались, в висках стучало. Михаил подошёл к воротам, прислонился к стойке, чтобы немного прийти в себя.

Во дворе слышались голоса играющих ребятшек. Он посмотрел в щёлку ворот — взрослых

не видно. Постучал щекоткой. Подбежала девочка со светлыми, как ковыль-цветун, волосёнками, открыла калитку, удивилась незнакомому дяденьке в солдатской шинели.

— Поповы здесь живут? — проглотив ком в горле, спросил Мишка.

— Здесь, дяденька.

— А мама и папа дома?

Девочка не успела ответить — на надворном крыльчке появилась сестра. Она стояла столбом, ничего не могла выговорить, трудно было узнать брата в этом худом, осунувшемся солдате.

Михаил со всех ног бросился к сестре, обнял, целует:

— Васёна!.. Да что же ты — не узнаёшь меня?

По голосу, по глазам узнала сестра, закричала:

— Миша, братик ты мой милый! — заливаясь радостными слезами, целовала брата. — Заходи в комнату, что же мы на пороге! Скоро Володя приедет с работы... Он на железной дороге работает...

Утром Михаил с зятем Владимиром наняли подводу и поехали в Благословенную.

6

Степан Андреевич сидел на скамеечке у ворот своего двора. Как и всегда, перебирал он в воображении события бурных последних четырёх лет. В памяти стояли не возвратившиеся из отступления сыновья. Что-то

теперь с ними, где они теперь? Живы ли? А если мёртвые, то где же схоронены? Кто оплакал их, лучших из всех Веренцовых, родившихся как будто для того, чтобы преждевременно уйти в землю...

Слева из-за угла выехала бричка. На ней сидело трое, один в солдатской шинели без погон. Все трое пристально смотрели на Степана Андреевича. Он приложил руку ко лбу, шепча:

— Никак Митя едет... Господи... Боже мой, так и есть, он...

Бричка описала большой круг, чтобы подъехать к воротам передом. Военный спрыгнул с телеги, побежал в объятия отца.

Степан Андреевич тем временем кричал в ворота, на двор, копавшейся там Елене Степановне:

— Мать, иди скорее сюда, Митя приехал!

Елена Степановна подбежала к воротам, хотела проскочить мимо мужа на улицу и застряла в узкой калитке.

Сжав обоих в объятия, застыл между отцом и матерью сын.

Услышав крик свёкра в воротах, с заднего двора бежала Наташа. Под оханье свёкра: «Митя, Митя, как ты похудел» — Наташа сдержанно-застенчиво поцеловала военного, воображая его деверем Дмитрием... И тут же поняла ошибку, закричала во весь голос:

— Папаша! Да ведь это же не Митя, а Миша!..

Сквозь сон, как будто у самого изголовья, Михаил услышал петушинный крик, но это не было пробуждением, а как будто приходом знакомого бреда. Он спал и не спал, слыша отчаянный, на пределе ужаса крик: «Прощайте, братцы!..», стальное лязганье тюремной двери. «Это сон, — понял Михаил. — Этого не может быть. Это ведут на расстрел смертников».

Пузырьками воздуха в закипающей воде всплывали в сознании тюремный жёлтый свет, запахи, бессильное ожидание без времени. Снова лязг запоров. Вошедшие называют фамилии. И снова: «Прощайте, братцы!..» Один, названный, рыдает навзрыд, другой стоит у нар, бессмысленно перебирает в узелке жалкий скарб...

Он ждёт своей фамилии, чувствует, как холодеет затылок, жизнь мечется волком в поисках выхода, как тогда, под Орском, в смертном кольце красных, — но выхода нет, и он змеёй из старой кожи выскальзывает из кошмара...

Как липкую паутину, Михаил стёр со лба потный ужас, с которым нельзя жить, и проснулся. Сердце колотилось, как будто хотело вырваться из грудной клетки.

В сложенное из осколков стекла окошко, вмазанное в саман, сочился осенний рассвет. Под полусброшенным цветным одеялом обессиленно разметалась Наташа.

Шестилетний Васятка, вчера испуганно гладивший ему щетину на щеках, сонно сопел за печью. Отец с матерью ушли на ночь к родне. От спёртого воздуха в землянке нечем было дышать. Михаил понял: не уснуть. Он тихо оделся, вышел во двор.

Михаил захлебнулся от утренней свежести, закружилась голова. Он постоял, пережидая. Знакомой дорогой ноги повели его к Уралу. Чем ближе подходил он к родному яру, тем больше отпустила в сокрушённом, озябшем сердце закрученная до отказа пружина. Урал двигался всей своей живой гладью, видный отсюда от берега до берега.

Вдоль свежего обрыва Михаил пошёл в сторону гумен и старого кладбища. Немного осталось от его заросших могил — в последние половодья река подточила крутой берег, унося с обрушенными глыбами казачий прах...

Поросший чернобельником и тысячелистником холмик — пограничный рубеж их детских игр. Отсюда для них, казачат, началась неведомая земля. Михаил опустил на траву.

Большая роцца сквозила на другом берегу. От шумных птичьих поселений на обнажённых вершинах остались тёмные кучи гнёзд.

Михаил размягчённо окинул взглядом станицу. В ней, сожжённой три года назад, появились слепленные на скорую

руку землянки из камня-плитняка и глины. Кое-где между ними зияли плечи пожарищ с закопчёнными печными трубами — как будто чёрные корявые руки грозили кому-то, указывали в небо.

«За что им такое? За что беда, как небо над головой — не взять её ничем, не достать? За что эти годы жизнь кидала из огня в полымя, заставляла прожить до времени, не обещала ничего, кроме гибели?» — Михаил судорожно сжатыми кулаками ударил о землю, с глухим стоном повалился на неё, уткнулся лбом в выпцветшую дернину, перекатывал лицо по жёсткой польни...

Жадно, до ломоты набрал он воздуху в искаленную грудь — осенней, влажно-острой, томящей свежести прибрежных талов, вольной сухой горечи польни, откуда-то потянувшего кизячного дыма. Думать он ни о чём больше не мог. Всё, к чему почти в звериной тоске по дому стремился он из крови и ужаса братоубийства, было здесь...

Жерех ударил на быстрине... Михаила потянуло к воде. Он стоял не шевелясь у самого обрыва и смотрел, как из береговой глубины, где вода выворачивается колесом, поднимались крупные голавли с чёрными ремешками вдоль спины и чёрными хвостами. Пошевеливая красными плавниками, они схватывали с поверхности воды невидимый корм и уходили в глубину.

Урал, уже по-осеннему прозрачный, бежал мимо, словно уносил беду в своих водах, брал её, как отец, на себя.

Слабый низовой ветер зарябил воду. Длинные ломаные белостальные змеи побежали наискосок по Уралу. Над степью, всё больше светлея лучами, поднимался холодный багровый шар.

Две фигуры показались из-за крайних домов станицы, и одна,

маленькая, тут же отделилась, рванулась в сторону Михаила. Не оглядываясь на мать, не глядя под ноги, к нему бежал, летел сын Васятка. Он разогнался так, что было страшно: вот упадёт... Васятка запрокинул от бега голову, смеялся и что-то кричал отцу, и взъерошенные с ночи волосёнки белым огнём, как ковыль-цветун, вспыхивали на солнце.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Родина — для оренбургских казаков это земля Оренбургского казачьего войска, река Урал.

2. Тебенёвка — зимнее пастбище (оренб.).

3. Шагрень — выделанная кожа с конского (лошадиного) крупа.

4. Бора́ — складка в одежде (местн.)

5. Ленчик — деревянный остов седла.

6. Водяной бык — вышь, из рода цапель.

7. Галкин Николай Александрович — выпускник Владимирского военного училища и Николаевской Академии Генерального штаба.. Во время Первой мировой войны служил в штабе Киевского военного округа в чине подполковника.

С конца 1917 года руководил подпольной офицерской организацией в Самаре. После свержения советской власти в городе в правительстве КОМУЧа, с 8 августа по 24 октября 1918 года управлял военным ведомством. Руководил формированием частей Народной армии. После прихода к власти адмирала Колчака с 31 января 1919 года начальник Яицкого отдела войск Русской армии подчинился непосредственно командующему Уральской армией. Позднее командовал 11-м Яицким корпусом в составе Южной армии. В феврале 1920 года с отрядом А.П. Перхурова попал в плен у деревни Карпово близ Усть-Кута.

8. Верный — г. Алма-Ата с 1921 года, с 1995 года — г. Алматы.